КАРАМАН Вадим Николаевич

канд. ист. наук, зав. библиотекой Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева (г. Владивосток)
Электронная почта: karaman-v.n@mail.ru

«Преступление в наказании»: Повесть-исповедь незаконно репрессированного

УДК 94(571)

doi: dx.doi.org/10.24866/2542-1611/2020-1/73-107

Памяти Юрия Ивановича Трифонова-Репина

Журнал «Известия Восточного института» публикует воспоминания Михаила Петровича Саяпина, дальневосточника, политического заключённого, писателя. Эти воспоминания передал для публикации его бывший ученик Юрий Иванович Трифонов-Репин, до последнего дня возглавлявший Приморское отделение Общества «Мемориал».

Незадолго до смерти в 2017 году Юрий Иванович обратился ко мне с просьбой оформить воспоминания его учителя, бывшего политзаключённого советских времён Михаила Петровича Саяпина. Архив Юрия Ивановича с воспоминаниями состоял, к сожалению, только из рукописи в электронном виде, основную часть которой составлял текст, опубликованный в 1989 году в газете «Ударный фронт» [5]. Просмотрев архив, я предложил Юрию Ивановичу сделать публикацию, на что он дал согласие и передал электронный текст с воспоминаниями. Сделать публикацию сразу же не получилось, а со смертью Юрия Ивановича в декабре 2018 года и вовсе продлилось до сегодняшнего дня.

Юрий Иванович много рассказывал о своём учителе, о его пребывании и мужественном поведении в лагере. Любопытно, что их знакомство началась со ссоры на пустом месте: Юрию Ивановичу, в то время (1950-е) молодому и бойкому парню, никак психологически не давалось на уроке произнести вслух английское «tree» – дерево (растение), а после уроков дело чуть не дошло до драки. Но потом их знакомство переросло в крепкую дружбу. Они быстро нашли общий язык. Обоих кроме судьбы¹ объединяли любовь к искусству и литературе и полное неприятие политической несправедливости.

Говоря о Юрии Ивановиче Трифонове-Репине, следует упомянуть ещё одно подобное и крайне прискорбное событие или, точнее, стечение обстоятельств. Как раз незадолго до того, как Юрий Иванович познакомил меня с рукописью воспоминаний, он рассказал о разговоре со скульптором Валерием Геннадьевичем Ненаживиным и приглашении его для обсуждения памятника жертвам политических репрессий (давнишняя мечта и идея Юрия Ивановича). Мне Юрий Иванович сказал: «Приходи, я тебя с ним познакомлю, и мы обговорим вопрос о памятнике втроём». И как раз на неделе встречи (это должен был быть четверг) мы узнали о смерти Валерия Геннадьевича. Это лишний раз подтвердило истину:

¹ Оба перенесли много бед и несчастий: Михаил Петрович сидел как политзаключённый, а Юрий Иванович родился в лагере.

Для цитирования:
Караман В. Н. «Преступление в наказании»: Повесть-исповедь незаконно репрессированного // Известия Восточного института. 2020. № 1. С. 73–107. doi: dx.doi.org/10.24866/2542-1611/2020-1/73-107

Рис. 1. М.П. Саяпин. Источник [6].

² Биографические данные взяты из буклета, посвящённого М. П. Саяпину [6], и данных из специализированных Интернет-ресурсов, посвящённых жертвам политических репрессий [2, 3, 4].

при нахождении исторических документов или возникновении идей, связанных с восстановлением исторической памяти, действовать всегда надо быстро и безотлагательно.

Биография Михаила Петровича Саяпина типична, если не для большинства (тут нужен серьёзный социологический анализ), то для многих его современников – именно для этой категории населения (ровесники Октября) удар был одним из самых болезненных. Пожалуй, они больше всех не понимали «за что».

Михаил Петрович Саяпин родился 19 января 1917 года² в деревне Белоярово Амурской области. На прииске Златоустовском, открытом старателями на Селемже, окончил шестилетнюю школу, затем школу-интернат. В школе Михаил начал писать стихи. В 1932 году 15-летний Михаил вместе с другими документами получил и представил в горпромучилище г. Благовещенска школьную справку, в которой, кроме прочего,

было записано: «имеет пристрастие к сочинению стихотворений». Преподаватели училища оказались равнодушны к талантливому подростку и посодействовали переводу на рабфак пединститута. После рабфака он стал учиться на литфаке Благовещенского института. В 1938 году Михаил Саяпин, уже студент 4 курса, перевёлся в Саратовский пединститут. Здесь он принялся за изучение русской литературы и иностранных языков, участвовал в литературном кружке. Однако всё это было прервано.

10 декабря 1938 года Саяпин был арестован по обвинению в создании нелегального литературного кружка. А 3 марта 1939 года суд приговорил Михаила Петровича Саяпина к трём годам лишения свободы. Во Владивостокском пересыльном лагере он встретился с известным писателем Бруно Ясенским, автором книги «Человек меняет кожу» и в то же время одним из авторов главы девятой «Добить классового врага» из печально-известного сборника «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства» [1].

Михаил Петрович направляется в Дальнереченский район на строительство автострады. Там местное начальство, узнав, что у Саяпина незаконченное высшее образование и хорошее знание немецкого языка, взяло его в школу в качестве преподавателя. А затем 4 октября 1944 года Михаилу Петровичу Саяпину по ходатайству районно выдали паспорт. Этот день считается окончанием его заключения и ссылки. После реабилитации в 1956 году Михаил Петрович 20 лет посвятил обучению и воспитанию детей. Также М. П. Саяпин был внештатным корреспондентом газеты «Ударный фронт». В 1989 г. в газете

«Ударный фронт» публикуется его повесть-исповедь «Преступление в наказании» [5]. Умер Михаил Петрович в 1990 году.

Текст даётся по электронной рукописи предоставленной Ю. И. Трифоновым-Репиным и сверенной с публикацией в газетах «Ударный фронт» [5] и «Арсеньевские Вести» [3] с сохранением авторских орфографии и пунктуации. Устранены только явные опечатки.

Литература

1. Беломорско-Балтийский канал имени Сталина: История строительства, 1931–1934 гг. / под ред. М. Горького, Л. Авербаха, С. Фирина. – М.: ОГИЗ, 1934. 616 с.
2. ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ИТЛ (Упр. Владивостокского ИТЛ и колоний Приморского края, Владлаг) [Электронный документ] // Сайт Международное историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». URL <http://old.memo.ru/history/nkvd/gulag/r3/r3-57.htm> (Дата обращения: 10.08.2019).
3. М. П. Саяпин: Преступление в наказании / Михаил Саяпин [Электронный документ] // Сайт газеты «Арсеньевские Вести». URL <https://www.arsvest.ru/rubr/3/44911> (Дата обращения: 10.08.2019).
4. Саяпин М. П. Преступление в наказании: Повесть-исповедь незаконно репрессированного // Ударный фронт. 1989. 14 янв., 21 янв., 28 янв., 11 февр., 18 февр., 25 февр., 11 марта.
5. Саяпин Михаил Петрович [Электронный документ] // Сайт Томского мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД». URL <http://nkvd.tomsk.ru/researches/passional/sayapin-mihail-petrovich/> (Дата обращения: 12.08.2019).
6. Шаги мои не так уж бесполезны: к 100-летию М.П. Саяпина : буклет / сост. С.П. Баклаева. 2-е изд. Дальнереченск. МБУ «ЦБС» 2017.

Vadim N. KARAMAN

Ph. D. (in History), Head of the Library, Vladimir K. Arseniev Museum of Far East History (Vladivostok, Russia)
E-mail: karaman-v.n@mail.ru

"Crime of Punishment": A Tale-Confession of Unlawfully Repressed

UDC 94(571)

doi: [dx.doi.org/10.24866/2542-1611/2020-1/73-107](https://doi.org/10.24866/2542-1611/2020-1/73-107)

In memory of Yuri Ivanovich Trifonov-Repin

Oriental Institute journal publishes the memoirs of Mikhail Petrovich Sayapin, a political prisoner and writer. These memoirs were given for publication by his former student, Yuri Ivanovich Trifonov-Repin, who until the death headed the Primorsky branch of the Memorial Society. Mikhail Petrovich Sayapin was born in 1917 in the village of Beloyarovo, Amur Region. He received incomplete higher education at the Blagoveshchensk and Saratov colleges. In 1938, Sayapin was arrested on charges of creating an illegal literary section. In 1944, Mikhail Sayapin was released, and in 1956 he was rehabilitated. Mikhail Petrovich devoted 20 years to teaching and raising children, he was a freelance correspondent for the newspaper "Udarnyi Front"

(“Shock Front”) in Dalnegorsk (Primorsky Territory). In 1989, the newspaper “Udarnyi Front” published his story-confession, “Crime in Punishment”. Mikhail Petrovich died in 1990. The text is given according to the manuscript, verified with the publication in the newspaper “Udarnyi Front” with preservation of author’s spelling and punctuation. Only explicit typos fixed.

For citation: Karaman V. N. "Crime of Punishment": A Tale-Confession of Unlawfully Repressed // Oriental Institute Journal. 2020. № 1. P. 73–107. doi: [dx.doi.org/10.24866/2542-1611/2020-1/73-107](https://doi.org/10.24866/2542-1611/2020-1/73-107)

References

1. Belomorsko-Baltiiskij kanal imeni Stalina: Istorija stroitel'stva, 1931–1934 gg. / pod red. M. Gor'kogo, L. Averbakha, S. Firina. – M.: OGIZ, 1934. 616 s.
2. VLADIVOSTOKSKIY ITL (Upr. Vladivostokskogo ITL i kolonij Primorskogo kraja, Vladlag) [EHlektronnyj dokument] // Sajt Mezhdunarodnoe istoriko-prosvetitel'skogo, blagotvoritel'nogo i pravozashhitnogo obshhestva «Memorial». URL <http://old.memo.ru/history/nkvd/gulag/r3/r3-57.htm> (Data obrashheniya: 10.08.2019).
3. M. P. Sayapin: Prestuplenie v nakazanii / Mikhail Sayapin [EHlektronnyj dokument] // Sajt gazety «Arsen'evskie Vesti». URL <https://www.arsvest.ru/rubr/3/44911> (Data obrashheniya: 10.08.2019).
4. Sayapin M. P. Prestuplenie v nakazanii: Povest'-ispoved' nezakonno repressirovannogo // Udarnyj front. 1989. 14 yanv., 21 yanv., 28 yanv., 11 febr., 18 febr., 25 febr., 11 marta.
5. Sayapin Mikhail Petrovich [EHlektronnyj dokument] // Sajt Tomskogo memorial'nogo muzeya «Sledstvennaya tyur'ma NKVD». URL <http://nkvd.tomsk.ru/researches/passional/sayapin-mihail-petrovich/> (Data obrashheniya: 12.08.2019).
6. SHagi moi ne tak uzh bespolezny: k 100-letiyu M.P. Sayapina : buklet / sost. S.P. Baklaeva. 2-e izd. Dal'nerechensk. MBU «TSBS» 2017.

Саяпин М. П. Преступление в наказании

Совершилось это 10 декабря 1938 года в полночь. Я уже спал. В комнату постучали и сразу же вошли, потому что я никогда не замыкал дверь ни ночью, ни днем, И когда добрейшая хозяйка квартиры, Варвара Евдокимовна, включила свет, на меня уже глядели три пистолетных дула и негромкий, но властный голос скомандовал:

– Руки вверх! При попытке бежать, защищаться или сопротивляться – применим оружие, стрелять будем без предупреждения! Обыскать его!

Два рядовых солдата войск НКВД набросились на меня и стали шаривать на мне трусы и майку. Человек с тремя красными квадратиками в петлицах и в синей фуражке, продолжая держать в руках наведенный на меня револьвер, подал мне какую-то бумагу. Читаю: ордер на право обыска в моей квартире. Подпись прокурора неразборчива.

Меня стало трясти, как при ознобе, хотя в комнате, как обычно, было тепло. Велели одеться и начали тормошить мой немудреный, студенческий скарб. Иван Степанович, хозяин квартиры, старый рабочий саратовской пристани, пенсионер, сидел на кровати в нижнем белье, не смея одеться, и курил одну самокрутку за другой. А Варвара Евдокимовна села в уголок возле икон, крестилась и божилась речитативом: – Вот богом клянусь, добрые люди, богом клянусь, он мне не сын, чужой он мне, но не враг народа, он и родился-то при Советской власти... Боже мой! Да что же это такое?!

На нее не обращали внимания, только муж ее тихонько сказал:

– Будя, мать. Посмотрят, разберутся, оставят.

Но меня не оставили, мне тут же подали второй ордер на право ареста. Целый мешок набрали и моих рукописей. Составили полый реестр. Как сейчас их вижу: 28 общих тетрадей, 49 простых тетрадей, 416 листов листами и 17 блокнотов. Как выяснилось позже – искали «Письмо Ленина к съезду».

Итак, привели меня на четвертый этаж Саратовского областного управления НКВД и тотчас же отступили к допросу. – Фамилии? Имя? Отчество? Число, месяц и год рождения? Место рождения? Кто родные? Не репрессирован ли кто?.. И вдруг, – бах кулаком по столу: – Ты враг народа! – взревел следователь Кондраков. – кулак ты, и кулацкое отродье! Теперь мы знаем все, и ты в наших руках. Вишь ты, еще пишет патриотические стихи! Подмазываешься, подлец! Тихой сапой действуешь?! Нам теперь все ясно. За участие в Зазейском кулацком восстании тебя ждет расстрел!..

– Дурак!

– Кто дурак?

– Ты, следователь, конечно, ты, – я уже видел себя каким-то другим, и этот другой мне представлялся теперь героем, мучеником фашистского застенка, но храбрым и дерзким. Этой мыслью я сам себя ободрял. Сейчас все более я хотел дерзить, видя всю абсурдность обвинения:

– Прочитай начало акта, – продолжал я.

– А что?

– А вот что: родился я 19 января 1917 г., а Зазейское восстание произошло в 1918 году, это, во-первых. Во-вторых, далековато годо-

валому пацану бежать из Мазановского района Амурской области до Тамбовского...

– Молчать!

– Ладно, молчу.

Минут десять молчали оба.

– Ничего, был бы в руках человек, а дело всегда состряпать можно, – думал вслух, не стесняясь меня, Кондраков, – а ты не храбрись. Ты у меня тонким писком запоешь... Где ты агитировал против Сталина? Где ты говорил, что Сталин присвоил власть? Молчишь?! Против вождей советского народа агитируешь? Небось Сталину ни одного стихотворения не посвятил. Я смотрел твои рукописи.

Впервые в жизни я слышал от другого человека такие слова. Мысль о том, что Сталин стал попирает демократию и командовать самолично, у меня в голове уже гнездилась, но она боялась ворваться даже шепотом для самого себя. И уж точно знаю, что я никому ее не открывал, даже самым близким друзьям. А тут вдруг об этом говорят вслух. У меня стало проясняться, почему так много людей уже арестовано, хороших, честных тружеников, с которыми я жил, которых я знал. Когда ночью внезапно соседи или знаковые исчезали, я сперва удивлялся:

– «Как мы проглядели врага народа? Как он ловко маскировался!».

И я себя порой тоже ругал за отсутствие бдительности, за детскую доверчивость. Удивляло меня только то, почему «разоблачал» многих людей всякий раз какой-нибудь склочник и скандалист. Но теперь, когда меня самого называли врагом народа, все сомнения развеялись.

Я молчал. Следователь писал, писал. Теперь уже не могу точно вспомнить, какую чепуху он там городил, только подписывать написанное им я наотрез отказался.

Долго водили меня по лабиринтам комнат и лестниц, вывели в тесный дворик. Затем мы вошли в двухэтажную пристройку с КПЗ, так называли сокращенно камеры предварительного заключения. Узенький коридор застелен дешевеньким ковром. чтоб не слышны были шаги стражника. В каждом коридоре дежурят солдаты внутренних войск.

Все мои карманы были опустошены, пояс, у меня забрали и толкнули меня в одну из каморок. На меня пахнула ужасная сырость. На трех кроватях сидели три человека, четвертая, вторая слева, была моя. Я сел и сразу же разрыдался, как ребенок. Это была разрядка после большого и долгого нервного напряжения. Меня никто не утешал. Успокоился я минут через десять и очень захотел спать. Один из моих соседей предупредил меня, что уже был «подъем», и лечь теперь нельзя до одиннадцати часов вечера.

Волчок в двери открывался через две-три минуты, и оттуда «сверлил» нас острый глаз охранника. Ели молча и опять сидели молча. Каждый боялся другого, боялся, что-нибудь сказать, опасаясь провокаций. Однако каждый назвал себя. Я узнал, что один из них здесь сидит «под следствием» уже полтора года. Другого посадили только вчера. Третий прошел все огни и воды, этапы, лагеря, тюрьмы, камеры, карцеры, упорно хлопотал и хлопотали его влиятельные родственники и друзья, а теперь его вернули «на доследование», «на переследствие». Этот говорил смелее. От него-то я и узнал, что может меня ожидать впереди.

– Главное не задерживаться в тюрьме. В лагере можно и работать, кое-где разрешают читать книги. Газеты не дают. Не тяните долго со следствием: все равно найдут зацепку и осудят,

– А сами-то хлопчете, – сказал я ему.

– Ну, я другое дело: у меня связи, если только не пересажали всех.

У меня это вызвало противоречивые мысли: в лагерях лучше – значит, надо не затягивать дело, и выхолит, надо подписывать на себя всякую брехню. Не могу! Буду мысленно сочинять стихи и запоминать их. Это займет время. Так ведь и прежде делали многие люди.

Не вызывали меня на допрос больше месяца, через полтора месяца вызвали с вещами. «Ну, теперь выпустят! Я же ни в чем не виноват» – От радости слезы заливают глаза. Но во дворе я увидел открытые двери автомобиля. Мрачный черный ящик на колесах без единого окошка поглотил меня, и рядом со мной уселись два верзилы в желтых овчинных полушубках. Куда-то повезут. Для пущей безопасности надели наручники.

Ехали совсем недолго. Дверь открылась, и меня ослепило зимнее солнце. Передо мной знакомые очертания мрачной многоэтажной саратовской тюрьмы. Под каждым окном пристроен снизу ящик-козырек: сверху свет в окна попадает, а внизу из окна ничего не видно. Я вспомнил, на улицах Саратова прохожие их называли намордниками.

К моему величайшему удивлению привели меня в дальнем дворе тюрьмы в огромную камеру – «Литер № 5». Это, как рассказывали, были помещения цехов бывшей мастерской исправительно-трудовой колонии. Да, похоже. В несколько рядов двухъярусные нары. Сейчас здесь человек триста.

– Ты молчи. Слушай и молчи, Мишка. Тут кишат шпики. У тебя нет никакой вины на воле, так тут могут пришить «камерную агитацию», – прошептал мне старичок. Глаза его черные и острые, как молнии, горели пронизательной добротой. Учил он в школе детей русской словесности в течение тридцати пяти лет, из которых двадцать лет костылял на одной ноге с деревянным протезом-стопой. Вторую ногу он потерял в боях против белогвардейцев. А теперь за глупую шалость одного из своих учеников он девятый месяц томится под следствием. Учитель уже знает, что ему дадут не менее пяти лет. (Позже я узнал: дали семь лет). Он видел и пацана, который получил в свои 12 лет три года срока в детской колонии.

Тут в «Пятом литере» даже дают художественную литературу. Читаю, читаю, читаю. Кое-кому приносят передачи. Мне никто не носит: некому. Пищи почти хватает, даже лук дают. В этой камере находятся в основном те, кого «должны скоро выпустить». Так они думают сами, потому что еще надеются на торжество справедливости, ведь каждый из них твердо знает, что он честно работал, ничего никогда не замышлял злого против Родины, что его взяли «по ошибке», или же, что он оклеветан, а умные, добрые, судьи разберутся и его выпустят. Так думал и я.

Два раза меня вызывали на допрос, ничего особенного от меня не добивались, сфотографировали в анфас и в профиль, еще раз сняли отпечатки пальцев, записали все мои приметы и прочитали их вслух, искали особые приметы, нашли, на «пузе» родинку, я почему-то и сам про нее ничего не знал. Один раз меня даже попили чаем и дали кусочек кеты с хлебом.

Вдруг, однажды в полночь, меня вызвали с вещами и прямо в тюремный карцер. Уполномоченный оперативник тюрьмы объявил приговор: «За организацию бандитского нападения на заключенного... (фамилию я не помнил, так как ее больше ни разу никто не упоминал) содержать заключенного М. П. Саяпина двадцать суток на строгом карцерном режиме». Дата. Подпись начальника тюрьмы С. Чульсина.

Ничего подобного вспомнить я не мог: следуя совету старого педагога, я вел себя неслышно и незаметно, даже никому не читал своих стихов, только лежал на верхних нарах у окна и читал романы. Значит, мне пытаются пришить камерное дело, ведь нельзя же меня выпустить на волю (это было бы против всех правил), но и судить меня не за что.

Карцерные камеры располагаются в подвальном этаже. Меня поместили в двухместную каморку. Пол цементный, размером два шага на три. Два низеньких топчана прикованы к металлическим опорам, вмурованным в пол. Ни стола, ни табуреток. Постели никакой. На топчанах по кружке с водой. У двери параша... «М-да, попал! Чем же все это кончится?!». Но тут есть кое-какая свобода: можно всегда лежать, сидеть, спать, ходить по очереди между топчанами. А вот петь, громко разговаривать строго воспрещается. Ну и ладно, петь не буду: это не обязательно. А удержаться не могу, очевидно, нервы, и громко говорю. С моим горячим темпераментом тихо шептать никак невозможно. Тринадцатилетний пацан, к которому меня подсадили, тоже предупредил меня, а мне хотелось проверить: «Ну, что они могут сделать?». И начал вслух разговаривать и даже мурлыкать какую-то мелодию. Но тут со страшным лязгом открылась наша массивная дверь, и два здоровенных надзирателя методично «подвесили» мне по две оплеухи, поддерживая с двух сторон (тут чувствовался большой опыт!), и потом спокойно бросили меня на нары. Ночью меня увезли на допрос в то же областное управление НКВД.

– Итак, – начал Кондратов, – все, о чем мы с вами говорили – это пустяки, так сказать, преамбула. Мы, конечно, желаем вам добра и сегодня хотели вас выпустить. Но я случайно в ваших рукописях обнаружил антисоветскую листовку...

У меня по спине забегали мурашки. Ничего подобного в своей жизни я не встречал и был твердо уверен, что в моих записях такой вещи быть не может.

– Да, так называемое «Завещание Ленина», – продолжал следовательно.

– А что это такое? – искренне поинтересовался я.

– Молчать, скотина! – и он тут же перешел на «ты». – Распространяешь клеветнические измышления о нашем родном вожде и учителе Сталине, да еще разыгрываешь простачка! Вот, гляди! – и следовательно, раскрасневшись от артистически разыгранного гнева, припечатал к столу, возле которого я сидел, какую-то замусоленную бумагу с еле заметным текстом, отпечатанным на машинке. Я понял, что это чистейшая провокация: – ни о каком «Завещании Ленина» я ничего не знал. Кстати, это меня и спасло от гибели: я действительно о нем еще ничего не слышал.

– Брехня! – сказал я.

– Вот именно брехня! – выпалил Кондраков, переворачивая мои мысли на содержание листка, – брехня и клевета на наших вождей!

– Я говорю, брехня: у меня такого быть не могло. Я о таких вещах ничего не знаю. Зачем вы мне это подсунули? И снова побои, карцер. Но уже другой.

КАРЦЕР

И, вроде, башка не совсем тупа,
И слушал мудрого старца –
Сидел смиренно и все же попал
На двадцать суток в карцер.
Хлеба фунт, а воду пей –
Ох, и здорово же!
Сижу поджарый, как старый кобель
У институтского сторожа.
Опять свербит стихотворный зуд
Какой-то коростой новой.
Дни бредут. А мечты ползут...
По столовой.
Там пирожком угощали меня
Там-то я скушал пончик...
И сладкие мысли о вкусных днях
Никак невозможно кончить.
В руках с колбасою цербер мордастый,
Открыв на распашку двери,
Жрет и смеется. Проси – не даст:
Голодному сытый не верит-
И если бы не был мир широк
В моей роскошной фантазии,
Я бы раз, два – за гвоздь на шнурок! –
Но не увидят они моё безобразие!

Стою, опершись на дверь, переминаюсь с ноги на ногу. Ноги давно уже гудят. Кажется, проходит вечность. Болит голова... По всему телу разливается слабость. Кажется, лег бы. и заснул навсегда. Навсегда? Э, нет! Я жить хочу, я хочу посмотреть, а что же дальше будет. Да я еще и не жил. Отец, отравленной германскими газами, а потом смертельно раненый японскими оккупантами, умер в двадцатом году, с семи лет я работал батраком-погонщиком у богатых родственников, а в награду получал тумачи. Зимой жил, где придется: неделю у одних односельчан, неделю – у других, одним словом, кто подберет на улице, потому что тетушка, у которой работал летом, зимой не хотела кормить, «дармоеда» А родная мать отказывалась принять и гнала, если я проходил:

– Иди к Ганьке. Вишь ты, лето работал у нее, а на зиму выгоняет! Тут этих не знаешь, как прокормить...

И я уходил: родная мать даже ночевать не оставляла. Может быть отчим и заступился бы, да сам уезжал на несколько месяцев на заработки на прииск Златоуст в Амурской области. Чужие люди подбирали меня, кормили. Но в школу я ходил ежедневно и холщовую сумку с книжками и тетрадями нигде не оставлял. Книжки и тетради тогда в школе давали бесплатно. Меня люди убеждали, что учеба – моя единственная надежда на будущее.

В 1929 году отчим Иван Трофимович Костюченко увозил всю семью на прииск. Председатель Белоярского сельсовета Дроздов за-

ставил его забрать и меня. Тетушку вынудили дать от хозяйства мой пай (коня, денег на корову, сани, зерно, постель; кое-какую одежку). На приисках учился в центральном поселке, жил в интернате бесплатно, как сын погибшего большевика. Там я окончил шесть классов. Кормили хорошо. Приисковое управление и одевало меня. Потом за хорошую учебу меня наградили путевкой на экскурсию в Москву. На обратном пути я заехал в Благовещенск к деду Ивану Евстигнеевичу Саяпину. Там и остался. Сперва учился в горпромуче на слесаря, потом меня сами учителя поревели в педрабфак за то, что я увлекался стихосложением. После педрабфака я стал учиться на литфаке Благовещенского пединститута. Кто жил в те годы, тот накрепко запомнил, каковы были пайки хлеба в 1932–34 годах. Растущий организм требовал пищи, и не помню минуты, когда бы не хотелось есть. С 1934 года хлеба «коммерческого» можно было, постояв в очереди ночью, купить хлебушка досыта, только были бы деньги.

А жил я на стипендию, изредка подрабатывая, на разгрузке угля на электростанции. Летом работал то где-нибудь в колхозе, то в Кумарском леспромхозе на молевом сплаве... На старшие курсы переехал в Саратов: здесь сильный профессорско-преподавательский состав... И теперь, когда оставалось только сдать госэкзамены, меня зачислили и заставили вновь голодать.

А ведь на воле еще не все об этом знают и думают, что действительно «враги народа» заполонили нашу страну, что с победой социализма внутренний враг усиливает сопротивление, и его, если он не сдается, надо уничтожать. А ведь, действительно, трудно разобрать, кто враг, кто не враг. Ну и что с того, что он из бедняков, что он партизанил или воевал против белогвардейцев и интервентов? Он теперь переродился и стал врагом народа (врагом самому себе!). Вот и берут всех подряд – глядишь, из тысячи один и вправду где-то рассказал какой-то анекдот про какого-то вождя.

Ох, и горькая это ирония! А по сути-то, я же не враг моему народу, и он сам, мой народ, избрал систему социализма, в том числе и мой отец. Сама система-то ведь очень справедливая, когда все принадлежит всем, а не кучке подлецов и дармоедов, когда все работают для каждого и каждый для всех. Хорошо стране, хорошо и мне...

Дверь с лязгом открылась, и мне бросили соломенную циновку. Такие у нас вяжут накрывать парники, а из камыша – для половиков ноги вытирать у порога дома. Разрешили лечь. С угла на угол лег и то не могу вытянуться во весь свой низкий рост. Догадываюсь, что это уже ночь. Часа через три бросили на меня грубую холстину, но через час забрали обратно. Немного уснул. Растолкали. От озноба зуб на зуб не попадает – прыгаю, согреваюсь. Принесли граммов двести хлеба и кружку холодной воды. Опять день на ногах: лежать не велят. Вечером снова бросают циновку – видимо, еще прошли сутки. Но почему же так хочется спать? Даже стоя умудряюсь дремать. Почему я все время пить хочу? Снова бросили циновку. Между жгутами я заметил что-то белое. Ага, бумажка, читаю: «Держись, малыш. Ты здесь уже шестые сутки. Ищи». Ищу в соломе. Нахожу сухарик, кусочек сахара и двухсотграммовый флакон с водой. Съедаю лежа и тут же засыпаю. Ночью флакон запрятал в солому циновки, и ее забрали. Вскоре дали кусочек хлеба и кружку воды и потом увели на допрос.

– Ну, как отдохнули, Михаил Петрович?

Меня взбесила такая издевательская вежливость, и я решил клин выбивать клином:

– Спасибо, чудесно отдохнули! И вам того же желаю, товарищ Кондраков.

– Серый волк в лесу тебе товарищ, гражданин Саяпин!

– Тогда зачем такой иронический вопрос? Если хотите. уничтожить, так убивайте сразу, а зачем морить голодом, без питья, зачем гноить в душной вонючей сырой камере?!

– Сейчас узнаешь, – и он ушел. Часа четыре никто не заходил в кабинет. Наконец, он явился с кипой каких-то бумаг и с готовым, уже подшитым «делом».

– Вот, читай и подписывай.

Читаю. Меня обвиняют в создании нелегального литературного кружка со своей программой и уставом, в высказывании против вождей и в распространении порнографических стихотворений Баркова. Членами кружка названы мои институтские товарищи: Миша Фидлер, Вася Аржанов, Арнольд Кромм и еще двое. Да, действительно, эти первые трое бывали у меня иногда, читали мы друг другу свои стихи, ходили мы и на Волгу кататься на лодке, а зимой на каток, в кино. Но разве такое бывает? Что же тут преступного?

А откуда эти злополучные стихи Баркова? О таких стихах я раньше кое-что слышал. Но не помню, чтобы кто-либо из моих друзей приносил мне их или оставлял какие-нибудь рукописи порнографического содержания.

И опять-таки «устав», «программа» – что это? Это уже не кружок, а политическая группировка. Ого! Да еще агитация против вождей... Это что-то страшно! Но где свидетели? Где остальные «члены этой партии или как там «кружка»? Следовательно подсовывает мне бумажку:

Вот, смотри, что пишет один из твоих товарищей. «... а однажды, когда я пришел к Саяпину, чтобы показать ему, как я умею играть на скрипке, он мне в разговоре сказал, что М. И. Калинин сам не решает никаких вопросов, а пишет в Верховном Совете указы гак, как ему прикажет Сталин». И подпись: – название какого-то предмета.

– Да это же писал студент Артур. Это его почерк и его слова. Он сам их говорил, а приписал мне.

– Врешь, подлец, выкручиваешься. Все равно ты у меня запоешь мышинным писком! Потом долго что-то еще писал Кондраков. Мне принесли стакан горячего чаю, сахару, кусочек соленой кеты и хлеба. Я поел, но много кушать побоялся, чтобы не было плохо. Тут же за столом я сидя и уснул.

– Ну, вставайте, Саяпин. Вот что я решил. Если жить хотите, то поверьте моему доброму слову. Вина ваша конечно небольшая. Мы разобрались. Но нас окружают враги, поэтому приходится искать. Подпишите вот этот протокол, суд вам даст условно три года, и будете продолжать учёбу. А иначе вам всё равно не быть на воле! В карцере придётся посидеть.

– А зачем вы меня в него посадили?

– Чтобы спеси поубавить.

Черт с ним, думаю, про кружок подписывать не буду, про бардовского Луку подпишу: за это не расстреляют. Под артуровской брехней тоже подписи не поставлю. Напишу потом в Москву, там разберутся.

– А с прокурором поговорить можно?

– Это еще зачем? У него без тебя много дел. Отведите его. Третьего марта будет суд.

Никогда я себе не прощу эту слабость! Зачем было подписывать хотя бы этот пункт, всего одну страницу?!

Дверь «черного ворона» распахнулась, и я увидел знакомый двор между мрачными корпусами Саратовской областной тюрьмы. Меня увели обратно в карцер, но по ошибке втолкнули в камеру смертников. С топчана соскочил высокого роста чернявый не то юноша, не то старик. Он оброс и весь сверкал сероватою проседью. Только глаза, круглые и черные, из-под серых бровей сверкали живыми огнями.

– Что? Тоже приговорили к расстрелу?

– Нет, меня еще не судили.

– Без суда хотят расстрелять?!

Нет, такого еще не было: хоть «тройка», а должна судить. Значит, или тебя не расстреляют, или тебя сюда посадили по ошибке.

По голосу и по каким-то другим чертам я угадал одного из студентов Саратовского университета. Я его имени не знал, но часто видел его в читальном зале нашего института в обществе наших старшекурсниц.

– Вы из университета?

– Да. Меня уже держат второй год. Сегодня судили. Я уже написал жалобу в Москву и на помилование в Верховный Совет. Если не помилуют, то через семьдесят два часа расстреляют.

– За что же вас?

– За «Ленинское завещание».

– Меня тоже об этом спрашивали, но я никогда о нем ничего не слышал.

– Э-э, молодо-зелено! А ты кто такой?

– Студент пединститута, – и я назвал себя

– Ты, видать, поступал в вуз годов семнадцати–восемнадцати, а я постарше. Твое счастье, что ты о нем, действительно, ничего не знал. А у меня нашли экземпляр, и теперь изолировали всех, с кем я был знаком. Вот и ты, видимо, с кем-то таким, как я, встречался.

Тут я впервые в жизни узнал то, о чём сейчас знает каждый школьник, а тогда убирали всех, кто мог хоть на миллиметр пошатнуть авторитет человека, который всеми силами старался себе эпоху создать и доказать, что он – это Ленин сегодня.

– Я тоже рос сиротой: отец погиб на германской войне, мать умерла с голоду. Я у них был один. У меня никого нет, кроме Гали. Если выйдешь на волю, передай ей, что я погиб честным человеком. Ты, наверное, голоден? На, ешь.

У него на топчане стояли щи, гречневая каша, булка хлеба и даже кусок колбасы.

– Видишь, какая чуткость?! Меня сегодня решили кормить, как на убой, находил он в себе силы шутить, – а ты духом не падай, крепись. Дело-то у тебя серьезное?

Я рассказал. Но в это время с шумом и бранью сам начальник тюрьмы перевел меня в ту камеру, из которой меня увозили на допрос.

– Черт знает, что! Сунули этого студента к смертнику. Я этого растяпу самого посажу в карцер на пять суток! – грозил кому-то Степан Чульсин.

В нашей камере сидел тот же Вася, которого ко мне втолкнули перед тем, как забрать меня на допрос.

– Так ты, молодой человек, за что попал? – спрашиваю его.

– Я жулик, честный жулик. Вот и обидно, что посадили не за то, что по карманам лазил. За это у меня было три привода. Бывало, избьют и отпустят. Теперь меня хотят судить за «агитацию» ...

3 марта 1939 года меня повезли на суд прямо из карцера. В коридоре областного суда из зеркала на меня смотрел бородатый, полосатый, седой человек, отдаленно похожий на меня.

Ввели меня в небольшую комнату. За столом передо мной сидели два мужчины и женщина. Никогда ни на каких судебных процессах я не бывал, в судебные дела не вникал и поэтому не знал, что должны еще выступать прокурор и защитник. Я только знал, что на суде должны быть какие-то свидетели и должны еще предъявляться вещественные доказательства. Тут ничего этого не было. Передо мной сидели эти трое, а позади меня – стрелок, никакой секретарши не было. Я подумал, что тот высокий на среднем стуле – это судья, а по бокам – подставные свидетели, поскольку я их никого не знал. Потом-то мне сказали, что это заседатели. Тут я понял, что это та самая знаменитая «тройка», которая многих уже осудила, кого на долго в «исправительно-трудовые лагеря», кого сразу «к высшей мере наказания». Я-то твердо знал, что я ни в нем не виноват и в уме повторял заранее сочиненное в стихотворной форме «последнее слово».

Начались анкетные вопросы:

– Фамилия, имя, отчество?

– Когда и где родился? Кто родители? Нет ли раскулаченных среди родных? Или репрессированных?

Удивительно: не говорят, в чем меня обвиняют, и не спрашивают, признаю ли, я себя виновным. Действительно, как спрашивать, если не в чем обвинить. А ведь я хотел сначала сказать об издевательствах следователя, о том, что меня ни за что, ни про что заточили в карцер, хотел рассказать про каменный «мешок».

Меня же только спросили:

– О себе самом имеешь еще что-нибудь сказать?

Я не успел опомниться, понять, что они имеют в виду, как мне тут же выпалили:

– Да что ты можешь еще сказать, когда там в протоколе все написано. И так все ясно. Суд уходит на совещание.

У меня в голове все перемешалось: я совсем не так представлял суд, и повисло в воздухе мое «последнее слово». Никто мне его не давал, и никто не стал бы слушать.

– Суд идет! – высунулась из двери какая-то барышня.

– Встать! – рявкнул на меня стрелок.

Мне почему-то стало плохо, видимо, от голода и перенапряжения. В глазах ходили круги – желтые, синие, зеленые и даже красные. То они отходили от какого-то центра, заменяя друг друга, то снова стягивались к центру один за другим и исчезали в нем. А в ушах дребезжали отрывки фраз:

– «Именем Российской... выступал против... собирались... и то собрание... на основании этого указа суд приговорил к трем годам лишения свободы... в правах на два года...» Больше ничего не помню.

Уже находясь в лагере об этом суде я написал стихотворение: – «Тройка»

Сiju три недели в карцере, От голодухи опух.
Зачем же морят?! – Догадался я! Сломить мой дух.
Обросшего, сухореброго. Меня повезли на суд.
«Ну, – думаю, люди добрые От муки меня спасут...»
История здесь не нова, Велик и тираж издания:
Не знаешь, в чем виноват, За что просить оправдание.
Судейская «тройка» сидит И даже нет адвоката:
И все же стали «судить» Фантазия не богата:
Спросили они у меня Все анкетные данные
Плюют, что отец – бедняк И жительство постоянное.
Достаточно им лишь те Серьезные обвинения,
Что знать бы я мог о Вожде Недобрые измышления...
И даже не дали сказать В стихах «последнего слова» –
Вот так оказался опять Мой замысел в корне сломан.
«Вас задержать решено Временно на три года...»
Фемида старухой смешной Пляшет вокруг народа.

Обратно в тюрьму везли в кузове открытого грузовика, на каком-то здании увидел портрет Н. К. Крупской, окаймленный черным крепом.

В карцере стали давать горячий суп один раз в сутки и на десять минут выводить на прогулку в тюремный двор. Очень медленно проходят последние дни пребывания в карцере или в «кандее», как его называют блатные.

Вот если бы в счастливые дни жизни можно было так замедлить течение времени, прожил бы десять человеческих веков! Вновь пытаясь сосредоточить мысли только на стих, но другая, главная, всегда осязаемая мысль о пище стоит на первом плане, перед глазами проплывают все виды съедобного.

Прошу бумагу, хочу писать кассацию – не дают: здесь все подобное запрещено! Разрешили петь в полголоса. Но для песен уже нет сил.

Ура! Срок карцера отбыл! В 28-й камере народу битком. Спят все вповалку на полу. Жара. Духота. Большинство сняли рубахи. Кровати сдвинуты в один угол. Их оккупировали жулики. Они день и ночь играют в карты, пахнет потом и парашей. Сначала тошнило, но через час уже привык. Новостей целая куча. На днях арестован депутат Верховного Совета начальник Саратовского областного управления НКВД Стромин. Оказывается, (ха-ха!), он совсем и не Стромин, а немецкий шпион Штроуманн. И какие-то еще страсти-мордасти: он хотел взорвать тюрьму со всеми заключенными. А ведь я за него совсем недавно голосовал. В эту белиберду все-таки верили. Даже нашлись такие, которые даже видели в нижнем коридоре ящики со взрывчаткой. Для нас-то, конечно, Стромин был сволочем: к нам непосредственно все репрессивные меры шли от него. Однако опять-таки все знали, что и в других областях тоже проходят сплошные аресты. До моего прихода в эту камеру здесь было в три раза больше народа и спали только сидя: один опирается спиной о стену, другой садится между его ног к нему спиной, к этому следующий и так дальше до

другой стены. Сидеть не на чем – днем стояли на ногах, а по очереди сидели на полу. А теперь проще.

Правда, спать можно только на одном боку, а если нужно перевернуться на другой бок, то нужно это делать всем вместе одновременно. Постели ни у кого никакой нет, ложимся прямо на голый пол. Если встал ночью по нужде, то уж места себе не найдешь и придется стоять на ногах по утра. О, в карцере было просторнее! И я там спал один на топчане, и спать разрешали в любое время.

Утром внесли ящики с пайками хлеба по 600 граммов.

– А ну, становитесь, в очередь в порядке списка птюхи получать! – скомандовал староста. Это был крупный мужчина средних лет. После я узнал, что это старый опытный жулик. Я в списке числился самым последним. Смотрю, один старичок-колхозник из Сердобского района плачет. Оказывается, у него жулики выхватили пайку хлеба. По их же неписаному закону запрещается забирать «кровную святую птюху». Но, оказывается, по отношению к «фраеру» в исключительных случаях этот закон нарушить для жулика не возбраняется. Другой, молодой парень, тоже колхозник, держит обеими руками горбушку хлеба, спешит ее скорее съесть, и от него немного сконфуженный и с отвратительной бранью отходит и ищет себе другую жертву дюжего роста бандит из тех, что на кроватях «резались в колотушки», то есть играли в карты до утра. Человек восемь таким образом лишились хлеба, возмущались, жаловались коридорному охраннику, но все напрасно. Трем человекам, в том числе и мне вообще в ящике хлеба не хватило, но пайки вскоре принесли. Учтя печальный опыт других, я свой хлеб тоже тотчас потянул в рот, не дождавшись супа или чая. Но на меня почему-то никто и не собирался нападать: жулики уже сидели на своих кроватях и ели сало, хлеб, сахар и белые сдобные сухари.

– Откуда у них эти лакомства? – спрашиваю пожилого мужчину.

– Вчера два наших товарища подучили «берданку».

– Что-что получили?

– Простите, передачу получили... Я уже давно в тюрьме и стал понемногу привыкать к этому тюремному жаргону «передача – передача – берданка». Так бандиты те сначала просили «поделиться». Они им дали. Показалось мало, тогда они у мужиков отняли все. Те вызвали охрану. Охранники пошарились для вида и ушли. А жулики избили этих мужиков, чтоб другие потом не жаловались.

– Но нас-то ведь много, – говорю я, – а жуликов всего десятка два. Почему их не привели к порядку?

– Пробовали Они дружные и очень наглые. А наши робкие, смиренные, трусоваты, и каждый думает: «Лишь бы меня не трогали». Нас тут собралось, которые посмелее, человек пятнадцать, стали им говорить, завязался скандал, драка. Глядим, а один из наших уже лежит зарезанный. Кто пырнул ножом? Откуда нож? Где нож – так и не нашли. Охранники тоже для видимости искали. Труп унесли и делу конец. Спишут! А кому еще охота за зря погибать? Вот и хамят они. А мы беззащитны.

Знакомимся. Борис (забыл я его фамилию) осужден «тройкой» без статьи, или по статье «ОСО» (Особое Совещание). Ему объявлен срок 10 лет. Есть там тоже «Особое распоряжение» по изоляции всех, кто бывал за границей Борис когда-то работал на КВЖД, а когда дорогу

продали, он приехал в Саратов, откуда родом были его покойные родители, и он тут родился, и родственники живут здесь.

Книг для чтения сюда не давали. Много мне пришлось похлопотать, прежде чем я добился бумаги и чернил и смог написать кассационную жалобу. Верно, копию приговора мне на руки дали, но запомнить я ее не успел, потому что охранники у меня ее в тюрьме сразу же отняли, как только привели в эту камеру: тут бумаги всякого вида и рода строго запрещены. Так что «кассация» моя была больше похожа на жалобу на следователя да на тюремщиков, да на просьбу о помиловании. Вскоре меня перевели в 26-ю камеру, и тут я расстался с Борисом. Встретиться нам больше не удалось. И о его дальнейшей судьбе я так ничего и не знаю.

Здесь совсем другой режим: заключенные по одному спят на кроватях. У всех свежее постельное белье. Чистота, как в больничной палате. Мне выдали также полосатую тюремную пижаму. В постели можешь валяться, когда угодно и сколько угодно. Мне дали койку крайнюю у двери, хотя при мне освободилась кровать в углу, у окна. Туда с моей койки староста камеры перевел старичка профессора: то место считалось самым удобным и почетным. Здесь жуликов, совсем нет, но бытовики сидят тоже. Сюда приносят книги из тюремной библиотеки. Черед неделю книги обменивают. Тут многие получают от родных передачи, на имеющиеся на хранении у начальника деньги можно в ларьке покупать кое-какие продукты: сухари, сахар, мыло, табак ... У меня денег нет, передач никто не носит: родных в городе нет, а друзей связывать с «врагом народа» не хочу, для них опасно. Но не голодаю: у людей остаются пайки, и своими продуктами они делятся. Некоторых заключенных водят на свидание с родными. Мне не приходилось бывать, но рассказывают, что в комнате для свиданий натянуты две железные сетки, между сетками ходит часовая, а видишь родственника через эти две сетки и можешь поговорить с ним целых десять минут, если что-нибудь разберешь в этом шуме, потому что рядом все говорят. Да и такое счастье удастся только тем, у кого родственники, не жалея ни сил, ни средств, долго-долго хлопочут и хорошо знают, где, как, когда и к кому обратиться.

Мой сосед мне одноклассник. Знакомимся: Поликуткин Иван Ефимович. Наборщик. За какой-то анекдот дали пять лет. Уже отослал «кассацию». Ждет из Москвы ответ. Кто их там разбирает, эти наши жалобы: их так много! Мы с Ваней очень быстро нашли общий язык и поняли друг друга. По какой-то интуиции и с большим, конечно, риском мы доверились друг другу. Я, само собой, безалаберный дурачок, а Ваня начитанный, умный парень со средним образованием. Я ему шепчу свои стихи, он мне свои сокровенные думы. Достаточно два-три раза повторить, и он накрепко запоминал мои стихи. Потом подсказывает темы, будоражит мое воображение, делает умные замечания по стихам. Фамилию профессора я не запомнил, так как его вскоре увели с вещами. Знаю только, что он преподавал в медицинституте, бывал за границей, в Германии. Хорошо говорит по-немецки, там он когда-то и учился, еще до революции. Ему дали 12 лет по ст. 58-8 – шпионаж... О, сколько потом таких «шпионов» я видел!

Вспоминаю институтские политзанятия «Кадры решают все», «Самое ценное в нашей стране – это человек». Каждое слово Вождя становится лозунгом. И какие чудесные фразы, вот если бы они от-

ражали действительность!.. С нами в камере два инженера. У одного в руках квадратный дециметр фанеры с расчерченной шахматной доской, такая же и у другого. Никаких фигур. Каждый смотрит на свою пустую доску и через две койки сообщает товарищу, какую фигуру на какую клетку ставит, какие фигуры противника бьет. Восхищаюсь: вот это воображение! Вот это память! Я таких вещей еще не видел. Узнаю: осуждены по 58 статье; одному дали 12 лет, другому – 15 лет. Сейчас они ждут: Москва должна утвердить приговор. Отмены приговора от Верховного Суда или смягчения они не ожидают. Вина у них большая: шутка ли, при постройке Саратовского шарикоподшипникового завода обвалился котлован и засыпало насос импортный, который стоит ой, ой, ой! А человеческие головы ничего не стоят. Одному из них при этом повредило сильно ногу. Он и сейчас, через восемь месяцев, едва хромает. Но нога заживет, она ничего не стоит. А насос погиб совсем, не восстановить...

Дорогой читатель. У меня сохранились (и то совершенно случайно) в черновиках только предыдущие страницы. Всю рукопись из более трехсот страниц я сжег. Поэтому дальше сделаю так: кратко опишу, когда и куда меня переслали этапом из Саратовской тюрьмы и дальше все жизненные этапы вплоть до моей реабилитации. А дальше все было так.

Тюрьму начали, видимо, разгружать. Эшелон за эшелонам везли на восток: пока не закончилась навигация, людей отправляли в Магадан и в другие лагеря. Мы, конечно, об этом только догадывались. Я ожидал ответ из Верховного Суда, не видел ни разу, чтоб кого-нибудь оправдали, и был убежден, что приговор утвердят. Ответ из Москвы не заставил себя долго ждать. Как только пришло утверждение приговора, меня перевели в бывшую детскую трудовую колонию № 5 при Саратовской тюрьме. Теперь здесь была пересыльная зона. Подследственных тут нет. Все ждут отправки, даже дети, которых еще довольно много. Живут они в отдельных бараках, работают в слесарной мастерской. Есть и девочки. У них надзиратели тоже женщины из «бытовичек».

О малолетках-девочках в лагерях по ст. 58-10 написал стих: – «НЮСЯ»

Три месяца, как Нюсю посадили,
И вот уже сегодня осудили –
И ей теперь не вырваться из лап.
Сегодня отправляют на «этап».
А заточили как «врага народа»
И сроку дали ей четыре года
За то, что бабке библию читала,
Подружки слушали...
И вот сюда попала.
Статью ей умудрились подвесить
Пятьдесят восьмую и подпунктик десять
А это страшно, должен вам признаться я:
Тут анти наша – вражья агитация – АСА!
А девочке всего тринадцать лет,
А, может быть, и столько еще нет...

Меня в этой зоне поставили звеньевым у несовершеннолетних. Они работали на потоке, который делал дверные ручки, петли, уголки и шарниры. Особенно опасны были штамповочные станки. Руки почти у всех ребят в ссадинах. Не хватало ни йода, ни бинтов. Питание им, как и взрослым, давали в зависимости от процента выработки, но хлебную пайку меньше шестисот граммов не давали, а на стахановский паек – даже кило двести. Хлеба оставалось много, куски даже валялись, и я на дорогу стал сушить сухари на ветру. О, как потом мне это пригодилось! Приварок тоже был довольно разнообразный. Кормили три раза. Рабочий день восемь часов. Протестовать за детей бесполезно. Оперуполномоченный так и ответил:

– Они все преступники. Они репрессированные. А тут свои законы.

В этой зоне нас задержали месяца полтора. Потом колоннами повели под строгим конвоем на вокзал и «затиснули» в товарные теплушки. За работу в колонии мне дали 12 рублей, так я в ларьке купил сахару и двадцать пачек махорки, хотя сам еще не курил. Говорили, что в лагере за спичечную коробку махорки можно выменять пайку хлеба.

Везли нас довольно долго. Бывало, по несколько дней стояли где-нибудь на полустанке. Долгосрочников в нашем вагоне не было, но одна треть – попали уголовники. Они сразу же заняли наиболее освещенные верхние нары и часть нижних нар. Которые нахрапистее из «политических», заняли остальные места на нижних нарах. А мы, прочие, слабосилки, разместились на полу, под нарами. Мне место досталось в углу, ближе к левой двери, если считать по ходу нашего двухосного вагона. Утеплен он, конечно, плохо, дует из всех щелей. Позже разодрали чью-то телогрейку и конопатили щели. В середине вагона – печка-буржуйка. Ее пока не топили. Дров не было. Старостой сразу же назвался один верзила, старый жулик. Один из бандюг крикнул:

– Кто за то, чтобы Пахан был старостой.

Кто-то поднял руку, кто-то не успел или не хотел.

– Все! Единогласно!

Пайки хлеба выдавали на три дня. Воду должны были давать ежедневно, но часто забывали. Суп давали один раз в день почти все время. Из бачка раздавал Пахан, сначала верхним нарам, потом – нижним, потом, что останется, – нам. Суп получал в миску, а в котелок запасал воды я ставил у себя в углу. За дорогу раза три мне супу не доставалось и семь раз не хватало пайки хлеба. Никого это не волновало. Тут-то меня и выручали сухари и сахар.

У жуликов была самодельная бритва. На остановках они брились. Это считалось их привилегией, а нам они бритву не давали. За дорогу я сильно оброс.

Чтива ни у кого никакого не было. Даже запрещено иметь бумагу и карандаш. Но у жуликов были самодельные карты («колотушки»). Там, на верхних нарах, они и играли, играли на деньги, на вещи, играли азартно. Если кто совсем проигрался и хочет отыгаться, он мог поставить на любого из нас: если проиграет, то бьет тому морду. Это еще терпимо. А позже, в лагере, они проигрывали чью-нибудь жизнь и за просто втихаря закалывали ножом. Один из «политических» пробовал протестовать, так они его все вместе так избили, что по приезду

во Владивосток унесли на носилках. Вряд ли он выжил! Я его больше не видел. Он харкал кровью.

Когда проезжали Забайкалье, было очень холодно. Дали нам немного дров и угля. Но всё равно на полу было холодно, я простыл и начал кашлять.

В Улан-Уде организовали баню. В дезокамере пропарили одежду и постель. Но помыться не удалось: в душевой вода была совершенно холодная. Когда вернулись в теплушку, обнаружил, что у меня пропали остальные сухари и сахар. Махорка осталась, и это мне пригодилось потом. Дыша в вагоне постоянно табачным дымом, я сам почувствовал необходимость курить. Так постепенно и привык. Лежу под нарами, повторяю свои стихи, чтобы не забыть, сочиняю новые, стараюсь запомнить. Писать нечем и не на чем: такие предметы иметь категорически запрещается. В лагере за такие вещи полагается карцер и строгий допрос. Правда, тем, кому разрешено писать письма родным, сам «опер» дает лист бумаги, карандаш, конверт и сам забирает незаклеенное письмо для проверки и отправки. Лежу под нарами, а какие кошки скребут по душе, только сам знаешь хорошо, и надо же, со всем свыкаешься, сживаешься.

Здесь, как у Данте в Аду, можно встретить всякие типы личностей. А сколько тут рассказней! Удивительно, что вся гадость, исходящая от уголовников, густыми комями начинает прилипать и к простым мужикам-работягам, особенно молодым. Одни быстрее, другие постепенно – почти все незаметно для себя начинают пользоваться этой лагерной терминологией. Уголовники с нами ехали почти все рецидивисты, уже знают лагерные порядки, охотно рассказывают друг другу о своих проделках и всегда считают случайностью, что их словили, «застукали», как они говорят. Или кого-то винят, кому-то угрожают, кто их на этот раз или предал, или провел. Я сразу взял себе за правило не пользоваться жаргоном, вернее, строго ограничиться.

Владивосток. Станция Вторая Речка. Огромнейшая зона. Кто знает, сколько народу через этот лагерь отправлено в Магадан и другие лагеря, сколько народа размещено теперь в бараках. Они набиты битком – для нас в них места не нашлось, и поместили всех из нашего эшелона в зале бывшего клуба, где когда-то «воспитывали» заключенных. Мебель вся удалена. Я примостился на сцене, возле долгосрочников. К ним и в зоне приставили часового. Они между собой держались сплоченно. Каждый был приговорен к сроку от 11-ти до 25 лет. Тут в основном военачальники, преподаватели институтов, инженеры, бывшие начальники, директора, учителя, врачи, партийные работники. Они и одеждой отличались: были одеты в домашнюю гражданскую одежду. Жулики их боялись, грабить не смели, получив своевременный дружный отпор еще в каком-то вагоне.

Меня долгосрочники от себя не оттолкнули, узнав, что я студент пединститута, тем более, что довольно сносно могу говорить на немецком и английском языках, а среди них были и немцы из Поволжья, где я провел два лета.

Все долгосрочники были осуждены по 58-й политической статье по разным пунктам: антисоветская агитация, диверсия, саботаж, шпионаж, вредительство, а то и по нескольким пунктам. У меня копии приговора давно уже на руках не было, но на перекличке-проверке я узнал, что у меня ст. 58, пункт 10 – это тоже агитация. Многие из них

первоначально были приговорены к расстрелу, но потом Верховный Суд им высшую меру наказания заменил большим сроком при усиленном режиме.

На Второй речке нас продержали всего несколько дней. На работу никуда не водили. Над сценой висит верная тарелка-репродуктор. Это хорошо; по радио удалось услышать хоть какие-то новости. Шел октябрь 1939 года. «Разоблачали» ещё новых «врагов народа», «их прихвостней и приспешников». Из международных новостей можно было легко догадываться, что рано или поздно Гитлер пойдет и на нас войной. Долгосрочники сетовали, что мы еще очень слабо готовимся к отпору врага, сами себя ослабляем. Надо бы тщательно приберегать кадры, а лучшие из них убывают по чьей-то великой глупости.

Вскоре нас перевели на Первую речку. Там, возле капустного поля, вблизи какого-то кладбища находилась небольшая пересыльная зона, размером метров сто на семьдесят или чуть меньше. Она была обнесена не глухим забором, как на Второй Речке, а только колючей проволокой. У ворот небольшая будка-проходная. На двух противоположных по диагонали углах сторожевые вышки. Гражданские люди всегда такие места обходят далеко, с оглядкой и опаской. В близи входа в зону натянута одна единственная, огромная, как барак, брезентовая палатка. Народу привели много. Почти все сидели под открытым небом. Часовой с вышки окриком запрещал много ходить по зоне. Там я видел известного польского поэта-писателя автора известного во всем мире романа «Человек меняет кожу», о котором сочинил тогда же стихи:

«ОЧЕНЬ ПРОСТО»

Пересылочной зоны колючий квадрат
С расчетом втиснуть «копытников» двести.
Льняная палатка объемом с барак
С угла возле вышки на «видном месте». Это Первая Речка. Сюда нас еще
Пригнали вчера. А посадка последует
На пароход «Емельян Пугачев».
Повезут в Магадан иль до бухты Светлая.
Тут сухим пайком наделили каждого
Чуть ли не на полторы дорожных недели.
Однако многие, наголодавшись,
Часть продуктов сразу поели.
Лишь один не берет и лежит давно
На бушлатике рваном в углу возле стенки.
«Не знаете кто?». «Да какой-то Бруно,
Какой-то писатель, какой-то Ясенский».
Бегу помогать. Наклоняюсь: «О, боже!
Да он, бедняга, уже застыл! –
Ему теперь никто не поможет!
Вот так «человек и меняет кожу»
Способом архипростым!».
Завернул бытовик его в грязную простынь,
Обвязал шпагатиком очень просто.
Положить на телегу мы помогли.
И поблизости вырос холмик земли.

Где-то возле «Капустного поля» –
Как проста ты, «господняя воля»!!!

Один из долгосрочников опознал его. Я только удивился, что он его часто называл Виктором Яковлевичем. Я даже думал, что он что-то путает. Но он читал по памяти по-польски его стихи и переводил нам их смысл. Теперь в советском энциклопедическом словаре (изд. 1988 года) я увидел, что тот долгосрочник не врал, только в словаре указано, что Ясеиский умер в 1941 году, а это не верно, погиб он в октябре 1939 года, то кладбище теперь снесено. Вот там бы, на Первой Речке, ему памятник и поставили или хоть бы мемориальную доску. Может быть, кто-нибудь помнит, где стояла та временная пересылочная зона. Что там теперь: дома или скверы? [Сейчас там Мореходное училище, а на месте кладбища для иноверцев на Капустном поле – сквер Веры и Надежды]?!]

Вечером того же дня нас всех на кунгасах катером перевезли на пароход «Емельян Пугачев», стоявший на рейде в Амурском заливе. Это сухогруз – зекавоз. Пассажирских надстроек на нем почти не было, и нас, несколько сот человек, поместили в двухъярусном трюме. Второй ярус был сооружен примитивно: из кругляка, горбыля и плах, положенных совсем не плотно так что в щели можно вплоть людей вни-зу. Там электросвет днем и ночью, а у нас иллюминаторы, так свет на день отключали. Я опять пристроился к группе долгосрочников.

Только пароход отплыл (отошел), тут и началась вакханалия грабежей: жулики отбирали у «политических» все, что им нравилось из гражданской одежды, отбирали продукты, искали деньги и другие ценности, чего было, естественно, очень мало.

Долгосрочники заняли место в углу и установили круговой обзор-оборону. И хотя многие из них были одеты в добротную гражданскую одежду, бандиты их трогать боялись. Тут и я спасался, больше всего опасаясь, чтоб не оставили без пищи. В Светлую, если мне не изменяет память, мы прибыли на третьи сутки.

Через люк вызывали не всех, а только человек четыреста. Среди них и долгосрочники. Меня вызвали где-то в конце, а было радостно: – все-таки не в Магадан. С парохода на кунгас нас спускали краном в грузовой сетке. Наши вещи спускали позже в той же сетке. Мне опять повезло: мой «сидор» оказался невредим. А самое главное–двухлитровый котелок, миска и ложка оказались целы. «Пугачев» стоял на рейде. Погода стояла тихая, и катерок быстренько бегал с кунгасом от пристани к пароходу и обратно. Разгрузить успели засветло.

В нашей партии бытовиков было процентов тридцать: спекулян-ты, хулиганы, растратчики, насильники, мошенники, убийцы и воры всех мастей. Из них потом назначали поваров, хлеборезов, пекарей, комендантов, бригадиров, учетчиков. «Политическим» таких долж-ностей не доверяли. Бытовиков часто расконвоируют, посылают в командировки в другие лагпункты и даже берут некоторых в воени-зированной охрану стрелками.

Зона в поселке Светлая очень маленькая. Спали мы под открытым небом. Жили мы тут около недели. Долгосрочников на работу не во-дили, а мы раза три под конвоем ходили на пристань отцеплять от сетей и чистить рыбу. Кормили хорошо: рыбы ешь до отвала!

Потом на шхуне «Светлая» нас повезли в обратном направлении в близлежащую бухту. На море от сильной качки я всю дорогу травил. Долгосрочников временно оставили в Светлой. Их очень строго охраняли. Там всех разместить не смогли, усадили возле проходной, и стрелки все время сторожили нас. Спали мы кто как. Среди заключенных – слухи, догадки, куда нас поведут, где будем жить, какие работы выполнять. У каждого своя версия, свои предположения, одно нелепее другого.

Третьего ноября 1939 года перед проходной поставили столы, расселись писари и стали нас в порядке живой очереди опрашивать и записывать в анкеты все данные делая особый упор на степень образования, специальность, кем работал на воле. Многие полагали, что где-то поблизости строится какой-то город и там можно работать в колонии по специальности. Было много бухгалтеров, инженеров-механиков, продавцов, учителей, несколько медиков, шоферы, трактористы, чернорабочие, колхозники, плотники, столяры. И все это записывалось в анкеты. Думаем: зачем-то надо... Наивные мы дети! На что надеялись? Если бы знали, и посмеяться можно над самими собой. Вот плотничать-то пришлось многим.

Через день выстроили нас в колонну по двое, взвалили мы свои вещички на плечи, и длинной колонной повели нас проселочными дорогами в тайгу по сопкам, через перевалы к реке Максимовне. Реку форсировали вброд и стали подниматься вверх по Батуевскому ключу. В двенадцати километрах от устья ключа остановили нас на травянистой полянке, на относительном плоскогорье. Всех сгрудили, приказали сесть и начали поверку по списку. Каждый названный переходил в другую группу и там садился... – Слава богу, по списку были все, кроме тех троих, которых застрелили по дороге «при попытке к бегству».

Следом за нами пришли подводы с продуктами, кухонным скарбом, лопатами, кайлами, плотницкими принадлежностями. Слошадми управлялись расконвоированные «бытовики». Из их же среды нам привели прораба, бригадиров, поваров, хлебoreза, даже несколько стрелков, у которых подходил к концу срок. Эти-то стрелки и были самыми жестокими, но мы имели право называть их «товарищами», а всех вольнонаемных только «гражданами». Эти стрелки были беспощадными и нахальными. Мы их узнавали по отсутствию звездочки на головном уборе. Попав в лагеря в отдаленных районах края, политзаключенные работали на лесоповалах. Лесорубы сильно устают, нормы большие, люди слабеют, и на стахановский паек почти не вытягивают, которые послабее, часто останавливаются. Были такие случаи: тех, которые долго отдыхают, стрелок ставит на пеньки «за саботаж», а того, кто сойдет с пенька, пристреливает, как «при попытке к бегству». Трупы складывали в заранее, с осени приготовленную яму. Весной их потом закапывали.

После поверки нам объявили, что здесь мы будем строить лагпункт, строить лесовозную дорогу до устья ключа и заготавливать лес. Но поскольку завтра и послезавтра 7–8 ноября, то работать не будем. Тут нам разрешили по пять человек с конвоиром отходить от общего «табора» и рвать сухую траву, наполняя матрасовки и наволочки. Всем выдали шапки, телогрейки, рукавицы, ботинки, штаны и байковые одежды.

Мой знакомый по Саратовской тюрьме Иван Ефимович Поликуткин пришел тоже с нашим этапом. В Саратове он работал наборщиком. Арестовали его, заподозрив, что он взял домой шрифт из кассы. И хотя это не подтвердилось, но кто-то донес, что он какой-то анекдот про Кагановича рассказал. Так вот ему за «агитацию против наших вождей» дали пять лет с последующим лишением гражданских прав на три года. Здесь он объявился плотником. Мы с ним были одноклассники. Но парень этот был действительно мастеровой. Сдружился с нами журналист Валентин Поляков. У него и сроку-то был всего один год – но тоже «враг народа». Не помню, за какую пустяковину его посадили. Он шутил: «Сажу за то, что колхозную корову обозвал». Мы трое держались вместе. Позже еще присоединился к нам Лукин, нам было удобно: пока один из нас куда-либо отходит, есть кому за вещами доглядеть.

Хлеба нам первое время всем давали одинаково по 800 граммов в день. В обед даже вторые блюда были, чаще всего по две ложки овсяной каши. С 9 ноября всем нам выдали пилы, топоры, и начали мы вокруг поляны вырубать пихтовый тонкомер длиной по пять метров и затесывать тонкий конец в виде карандаша. Бревно к бревну закрепляли в вертикальном положении – получалась стена.

Другие строили в зоне бараки, третьи за зоной казарму и другие службы. Нашлись умельцы пилить тес продольной пилой.

За осень срубили шесть барачных, кухню, медпункт-амбулаторию, проходную. За зоной – сушилку, дом для начальника лагпункта и командиров охраны, казарму и пекарню, еще какие-то склады, да конюшню.

Первоначально нас было человек двести, потом еще привезли. Основная масса людей ходила строить ледянку. Сейчас было бы смешно смотреть на это сооружение, а тогда кто-то додумался. Попад руслом ключей прорубали просеку, корчевали кусты, деревья и пни и потом долбили уже в замерзающей земле три параллельно идущие канавы с тем, чтобы зимой в них наморозить лед, и трактор будет возить лес на огромных санях с центральным большим полозом, и двумя маленькими боковыми. Ледянку тянули до устья Батуйского ключа где дальше лес должны были летом плавить по реке до моря. По первости и я работал на этом объекте, на корчевке. Работа тяжелая – устаешь смертельно!

С осени в самом центре зоны был построен ещё один барак человек на тридцать и обнесен второй зоной из таких же бревен, как и главная. И тоже вышки по углам. Туда привезли уже знакомых мне долгосрочников: это были «особо опасные враги народа». К ним никого из заключенных не пускали, хотя через ограду поговорить с ними удавалось, потому что на вышку стрелок приходил только на ночь, а им от проходной ничего не слышно. Был там один высокий военный чин по фамилии Дегтярев, был профессор-медик Бахтеяров, Он из Крыма. Остальных я знал слабо и забыл. На работу их водили в какой-то карьер, водили на верхний склад нагружать тракторные сани, а других – на нижний склад разгружать и штабелевать. Кормили их тоже плохо.

Когда к декабрю все бараки были готовы, то пригнали к вам большое пополнение из сплошных «доходяг». В одном бараке, обнесенном

изгородью, поселили около сотни женщин. И здесь, в лагере, многие из наших умирали,

В конце февраля 1940 года со мной случилась и другая беда. Во время штабелевки на верхнем складе скатилось бревно и раздробило мне кисть правой руки. Перелом открытый – разрыв на пальцах и на ладони. Товарищи перетянули мне руку жгутом, оторвав полу от моей рубахи. На морозе кровотечение остановилось, но ни учетчик, ни бригадир, ни второй стрелок не повели меня в лагерь до конца смены. Боль была адская! Руку держу кверху, пальцы немеют от холода. Вся одежда в крови. Вечером лекпом кое-как обработал руку и забинтовал кусками какой-то серой марли.

Но на другой день на работу не погнали, а паек стали давать карцерный: 400 граммов хлеба, вода и один раз в день жидкий супчик. Через три дня меня один стрелок повел в центральный лагпункт. Там посадили в карцер, где сидели уже человек шесть, вызвали меня к оперуполномоченному. Начались допросы. Меня обвинили в членовредительстве, я о таком явлении раньше никогда и не слышал. Рассказал я все так, как было. И толи опрос очевидцев подтвердил мои слова, толи умным и добрым оказался оперуполномоченный. Но сводили меня в местный медпункт, обработали хорошо раны, дали запасных бинтов и медикаментов и увели обратно на Батувеский ключ, поместили в общий барак, стали давать больничный паек хлеба. Через день я ходил в медпункт на перевязку. Рука постепенно заживала. Стали срастаться кости.

Однажды сам начальник военизированной охраны пришел в наш барак, когда все были па работе, отослал дневального «погулять по зоне» и стал тихо-мирно со мной беседовать о поэзии. Я, естественно, насторожился, боясь провокации или какого-нибудь нового подвоха. Но потом он показал мне и свои «опусы». Какие-то данные у него несомненно поблескивали, а вот простой грамотешки ему трагически не хватало (образование три класса). Посылал он свои стихи в местные газеты, снабжали его советами, но не печатали. А тут дело было в апреле. Нашел я в его тетради два более-менее подходящих весенних четверостишия, обработал их, отшлифовал, дал ему слово, что никому об этом не скажу, дал он мне в тряпочке сверток с куском хлеба и кусочком отварной нерпы и ушел. И надо же, на мое счастье, где-то в местной газете эти стихи напечатали.

Третьего дня этот начальник вызвал меня и увел к себе домой. Жена его, добродушная молоденькая женщина, накормила меня, а он сам предложил мне взять в напарники кого-нибудь из моих товарищей, у кого кончается срок, и работать у них дровоколами без конвоя, но на виду у стрелков, стоящих на вышках. Взял я журналиста Полякова, дали они нам хорошую пилу, колун и две веревки, чтобы носить дрова. А вблизи зоны было много сухостойных кедров. Сваливаем мы одно из них, распиливаем его на чурки – а сухие они довольно легкие – носим их по одной к солдатской кухне, к казарме, к дверям квартир женатых командиров и начальников. Там, на месте, чурбаны раскалываем на поленья нужной величины (и мелкие, и крупные), нащипываем лучинок или смольнушек для растопки и складываем в аккуратные поленицы. Но больших запасов стараемся не делать, чтобы и на завтра была работа. Поварихи нас за это подкармливали: давали хлеба, супу, каши. Иногда жены командиров, также жены начальника лагеря

и начальника охраны выносили по оладышку, по пирожку или просто по кусочку хлеба.

Потом начальник лагеря поручил нам соорудить небольшой свинарник и корыта на пять голов. Расконвоированные бытовики привезли из бухты с лесопилки обрезные горбыли и тес для крыши, и мы соорудили «свиной дворец», а корыта выдолбили из цельных бревен. С подсобного хозяйства привезли подсвинков. Нам же и поручили их кормить.

В середине июня 1940 года меня с небольшой группой малосрочных перевели в лагпункт «Центральное АДО».

Работали заключенные на прокладке конной лесовозной дороги до реки Кхунин. Это километров двенадцать. Расконвоированные бытовики работали на лесоповале, но жили в зоне вместе со всеми. Режим тут мягче, питание по калорийности достаточное, были овощи. Никто не голодал. Начальника лагпункта, хотя он был из вольнонаемных, считали «чужаком»: он всех заключенных называл товарищами, стариков по имени и отчеству, молодых вежливо по именам, при обращениях официально к слову товарищ прибавлял фамилию. В бараках здесь не было ни краж, ни драк. Каждому разрешали посылать родственникам письма, даже приходили посылки.

Изредка стали за работу выдавать понемногу денег. Несколько раз из бухты привозили товары, продавали махорку, спички, сахар, мыло, конфеты, печенье.

Кое у кого кончался срок, и журналиста Полякова тоже отправили домой.

В начале сентября 1940 года у нас сначала исчез бесследно «гражданин начальник», который называл нас товарищами, и через несколько дней лагпункт «Центральное АДО», видимо, ликвидировался, потому что нас всех до одного собрали и повели этапом в бухту. Жены начальника охраны и командиров с вещами ехали впереди на телегах. В лагере остались только комендант, пекарь и еще несколько человек расконвоированных бытовок.

Человек тридцать по дороге оставили на лагерном подсобном хозяйстве солить капусту, копать картошку. До нас тут работали бытовики. Я за две недели поработал везде. Не стесняясь, рассказывал заключенным разные ранее прочитанные рассказы, свои и чужие стихи. Особенно всем нравилась несколько озорная поэма Демьяна Бедного «О том, как четырнадцатая дивизия в рай шла». И мне было весело, и людям.

Уборка закончилась. И нас увели в лагпункт Кхунин. Есть там и село с таким же названием. Теперь это деревня Максимовна. По нашему прибытию начальником лагпункта была женщина. Все ее звали просто Ольгой Ивановной (фамилию я не помню), кое-кто по старой привычке звал «гражданка начальница» – от чего она иногда улыбалась, а потом хмурилась. Сама же она пожилых людей запоминала и звала по имени-отчеству, а молодых по именам или фамилиям. Если не знала, то спрашивала не только фамилию, но и имя, кто он и откуда, а то и «за что отбывает срок?» Ни словом «гражданин», ни словом «товарищ» она не пользовалась. Слово «заключенный» я раза два от нее слышал.

Но вскоре убрали от нас Ольгу Ивановну и, говорят, посадили «за связи с заключенными...». А ведь при ней все работали, как черти, и

не звучало осточертелое: – «Давай, давай!» А она ведь говорила; «У нас лагерь, но только трудовой, но и исправительный – это значит, он и воспитательный. Поэтому и лекции нужны, и самодеятельность, и кино, и газеты, и книги, и другие культурно-просветительные мероприятия. А у нас еще многие глядят, как бы больнее покарать,...». Вот так! Она-то, очевидно, знала «вину» всех этих «врагов народа» – и поплатилась. Поплатилась здоровьем или даже жизнью, а за что?

Прислали нам в начальники Парфенова. Уж этого деятеля, его фамилию я забыть и при желании не смогу и за полсотни лет!

Бочки с рыбой и лук сразу же из барakov убрали. Книги были тотчас изъяты. И если у кого находили клочок чистой бумаги, это оборачивалось карцером и угрозой получить дополнительный срок по 58-й статье.

Охранники здесь в основном пополнились из тех, кто служил в «Центральном АДО». Они и порекомендовали поставить меня работать банщиком. «Баня» – это землянка в песчаном грунте, без крыши. Потолок покрыт землей, в углу на кирпичах установлен семиведерный чугунный котел, обложенный крупным булыжником. Никакой трубы. Сверху в потолке отверстие для выхода дыма. Около очага четыре двухцентнеровые бочки. Воду надо носить на коромысле через всю зону из реки. С утра натаскиваю котел и три бочки. От лесопилки за 400 метров приношу вязанками обрезки горбылей, рублю их. Как только закипит вода, я ее вычерпываю ведром в пустую бочку, а котел заливаю снова холодной водой. Так нагреваю две бочки и котел. В опустевшую бочку донашиваю холодную воду. Теперь выгребаю остаток золы и угля. Бочки все закрыты деревянными кружками. Я закрываю дыру в потолке и мою полки, скамейки и стены. Потолок перед этим я обметаю метелкой. В неделю раз мылись все, каждый в свой день.

От ежедневного систематического отравления углекислым газом стали сильно болеть глаза, хоть и так одолевала трахома. Сильно стала притупляться память. Стал забывать многие стихи. В банный день для вольнонаемных одна, из жен командиров потеряла в бане огрызок карандаша. Я начал записывать стихи на выструганной досточке, заучивать их и потом соскабливать обломком стекла. Но многие стихи все-таки забывал. Конечно, нелегко было работать, не легче тех, кто по десять часов трудился на лесопилке, на бирже сырья или в тарном цехе, однако здесь меня никто не понукал.

Подкармливал меня и повар, который любил мыться ежедневно. Из муки, которую ему давали для жарки, для подливок, он иногда пек для себя коржики. Ими он делился со мной, иногда давал сырую картошку. Женщины из семей вольнонаемных и жены командиров тоже иногда приносили что-нибудь съестное. Когда они мылись, я сидел на скамейке возле входа в предбанник. Воду они использовали скромно, аккуратно, видимо, жалея мой труд.

У постоянно пьяного начальника лагпункта Парфенова появился заместитель по фамилии Бондарь – огромный одноглазый сорокапятителный детина. Жену с детьми он куда-то отправил и теперь вместе с Парфеновым, у которого тоже улетучилась семья, приспособились они водить к себе на квартиру понравившихся заключенных женщин.

Парфенов очень любил париться и в баню ходил через день, приходил он первый и мылся один. После него мылись бригады, каждая в свой день. Однажды начальник попросил попарить его. А я уже до

того угорел, что едва шевелился и парить его отказался. Он матюгнул меня – тут я не выдержал и ляпнул: – Я вам не холуй, и у меня тоже есть человеческое самолюбие!

– Ты контра! Ты враг народа! Значит ты и не человек! – Помылся он, оделся, вытащил из полевой сумки чекушку водки, выпил из горлышка, чем-то закусил. Вышел он из бани, потом вернулся, вытащил из-за голенища кнут-арапник и начал меня обхаживать по спине через тонкую рубашку.

На следующий день отправили меня работать на лесопилку: убирать горбыли от пилорамы да на тачке отвозить из шахты опилки.

О начале войны мы узнали на второй день, 23 июня. Сначала это звучало, как непроверенные слухи. Но все заметили большую настороженность начальства и охранников. Усилилась охрана. Возле работающих звеньев суетились вооруженные стрелки. Между заключенными прошла еще более страшная «тихая новость», что вот-вот высадятся японцы, и поэтому здесь заранее всех просто расстреляют. Однако, наоборот, улучшилось питание, начальник и другие перестали оскорблять и материть рабочих. Замечаем, они чаще «оговоркой» «по ошибке» называют нас товарищами, намекают, что, видимо, придет указание отправить нас всех на Батуевский ключ...

Наконец, 25 июня нам объявили, что фашисты вероломно напали на нашу страну, и теперь весь народ мобилизует силы на разгром врага. Нас призвали тоже своим стахановским трудом укреплять мощь Родины... Многие заключенные тут же высказали просьбу передать высокому начальству, что хотят пойти на фронт, чтобы смыть с себя позор судимости. Парфенов нам ответил, что просьбу такую он передать может, только заключенным по 58-й статье не стоит надеяться. Очень обидно было слышать такие слова.

Волю нам не дали. Никого в армию в это время у нас брать не стали и никуда этапом не повели. Паника понемногу утихла. Гражданин начальник перестал быть «товарищем», все улеглось и пошло по-старому. У некоторых осужденных по 58-й статье кончались сроки, но их не отпускали, объяснив, что пришел указ таких задержать «до особого распоряжения», и их стали теперь звать «особниками». Никакие жалобы, никакие заявления не помогали, и режим и нормы пресечения для них оставался строго тюремный, строго лагерный, могли и убить «при попытке к бегству» – все могло быть!

У меня по приговору «тройки» срок должен был кончиться 10 декабря 1941 года, но я уже предчувствовал, что не отпустят. Так оно потом и получилось: еще продержали два года и десять месяцев, а документами это время отметили: как «ссылку»...

О долгосрочниках, которых мы покинули в прошлом году в лагунке «Батуевский ключ», шли разные слухи: одни говорили, что их всех куда-то увезли, другие говорили, что их расстреляли.

В нашем лагере некоторые считали, что немцы победят. Но большинство верило в нашу победу. Был среди нас один высокий, худощавый, смуглый, долгоносый мужчина по фамилии Тесленко. Он москвич, работал где-то в каком-то высоком учреждении. Осужден по 58-й статье, пункт 10, сроку имел 7 лет. Он себя по-прежнему считал членом партии. Так он очень убедительно, аргументированно и, где возможно, громогласно доказывал, что все равно победа будет за Красной Армией. Он говорил, что мы работаем не для начальства, а

для Родины. После его бесед каждому хотелось работать лучше, больше выпустить тары, чтобы снабжать армию солёной рыбой: кетой и сельдью.

Выходные дни были отменены, и никто не роптал. Я напросился в воскресенье ходить в тарный цех сколачивать ящики для сухого посола рыбы. В нашем лагпункте рыбного промысла не было, а тару отправляли в другие бухты.

За восемь дней до окончания моего срока, 2 декабря 1941 года, оперуполномоченный и мне объявил об указе и сказал, что я теперь не просто заключенный, а «особник». (Директива Наркома ВнутДел и прокурора СССР №221 от 22.06.1941 г. – задержаться до особого и действовала до июня 1946 г.)

Я свободы был лишен
Приговором на три года...
Отсидел! Грядёт свобода!..
Но в Россию враг вошел,
И на нас, «врагов народа»,
Строгий выслали указ –

В долине Второй речки строился аэродром. Мы рыли новое русло – отводной канал. Грунт уже промерз – приходилось вбивать металлические клинья кувалдами, откалывать глыбы и отвозить их на тачках в другое место. Нормы выработки большие и заработать полный, а тем более стахановский паек мне практически было не по силам. От лагеря до места работы расстояние большое. Едва тащили ноги, особенно вечером... А тут еще вдобавок у меня два вечера подряд какой-то верзила выхватывал из рук пайку хлеба, убегал и немедленно съедал. Проработал я на этой стройке не более месяца, как со мной случилась беда: поднимая огромную глыбу грунта на борт канала, чтобы потом погрузить на тачку, крепко поднатужился я и почувствовал страшную боль в правом паху.

До конца работы просидел я у костра, а потом отстающего от общей колонны проводил меня один стрелок вплоть до барака. Пайку и суп мне приносили, приходил летом, поглядел, сказал: «Я не хирург» – и ушел. Я все время вправлял грыжу, а она выходила. На третьи сутки из отдельной, соседней зоны явился хирург (а на жаргоне зека – лепила или предурок). Мы сразу же, узнали друг друга. Это был заключенный Антон Иванович Козловский.

– Плохи твои дела! Но мы тебяотремонтируем.
– Но как они вас, «врага народа», взяли работать в госпиталь?
– А где им взять врача-бытовика. Уголовники институтов не кончают... Это история особая. Расскажу потом. И буквально через десять минут два санитары на носилках унесли меня в лазаретную зону, третий перенес мои отошавшие вещички. В тот же день политзаключенный по ст.58-АСА хирург (а на жаргоне зека – лепила и даже – предурок) меня прооперировал.

После в свободное время он подсаживался ко мне, и мы вспоминали Батуевский ключ и все прочее.

Эти строки посвящены политзэку – хирургу Антону Ивановичу Козловскому:

ЛАГЕРНЫЙ ЛЕПИЛА

Мой друг, Вы помните Сайгон. И многошумный Кхуцин.
Во всем величии своем. Новейших экзекуций?
Тогда с лопатой и киркой. Мы спины – вместе гнули
От шага в сторону порой. Свистели рядом пули.
И хлеба черного порой. Не досыта мы ели.
А вы – то в кепочке зимой. Да в серенькой шинели.
Когда б не шалости судьбы. И криминальной гнили,
То скольким жизнь вернули б вы. И скольких исцелили!

Больше месяца держали меня в лазарете. Питание и здесь было слабовато, но когда не работаешь, не тратишь силы, то баланс устанавливается терпимый.

Тут же работала врачом Софья Михайловна Авербах-Свердлова, и она же была главврачом в филиале госпиталя в главной зоне, который размещался на втором этаже над административной конторой. Ее муж и сын были расстреляны, я ее выселили из Москвы без суда и поселили тут, с нами. Занимала она комнатку возле лестницы, ведущей в терапевтическое отделение. С Софьей Михайловной меня познакомил Козловский.

Застаревшая трахома сильно деформировала у меня верхнее веко правого глаза и образовался трихиаз: у меня стали расти ресницы прямо в глаз и травмировать роговицу. Это очень болезненно: глаза все время слезятся и гноятся. Через много лет с появлением антибиотиков трахому мне излечили. А тогда врачи решили оставить меня еще на полмесяца в хирургическом отделении и сделали какую-то операцию. Но она мне не помогла. Потом Софья Михайловна забрала меня к себе в терапевтическое отделение работать санитаром. Вот тогда-то от нее я узнал очень многое о деятельности сталинской когорты вождей, что было приоткрыто при Хрущеве. Но ничего нигде никому я об этом говорить не мог, даже позже жене, потому что боялся, что это могло мне стоить жизни...

В терапевтическом отделении было две «заразные палаты»: свирепствовала дизентерия. Лечить было нечем. Ежедневно поступало 5–6 человек, и ежедневно мы столько же уносили в морг, а то и больше, учитывая умерших от воспаления легких и сердечников. Как мне известно, родственников о смерти заключенных не оповещали; жизнь человека ничего не стоила. На семьях тоже лежало пятно позора и пренебрежения, вроде бы они тоже «враги народа».

К госпиталю иногда подкатывалась легковая машина, и врача-зек Авербах-Свердлову увозили к себе домой какие-то большие городские начальники лечить их детей. Она была опытным детским врачом,

«Особники». Тогда это беззаконием не называлось: был указ – значит, все законно – можно неосужденного еще держать в заключении, даже не обещая ему скорого освобождения. Это, мол, законы военного времени. Некоторые уголовные статьи тоже попадали под этот указ. Таких набралось человек сто и «политических» человек двадцать. Мы оказались среди отъявленных рецидивистов, бандитов, грабителей и убийц. Втиснули нас всех в два товарных вагона и привезли в Иман. И походным маршем единой колонной под строгим конвоем погнали всех в Малиново. Тут оставили человек сорок, остальных погнали дальше в Ариадное, ныне там поселок лесозаготовителей Пожига, а до

нашего прихода там стояла какая-то воинская часть. Их казармы мы сами обнесли зоной из колючей проволоки, построили сторожевые вышки, проходную, поселились на двухъярусных сплошных нарах. Одну казарму за зоной оставили для стражи и начальства. И все пошло по старому порядку.

Мы прорубали просеку, корчевали, снимали гумус, рыли кюветы, засыпали полотно дороги, строили примостовые дамбы, деревянные мостики. Все вручную, лопатами, тачками, пилами, топорами,

Месяца через три нам стали выдавать паспорта, но оставаться мы должны были на месте и работать, как прежде, и паек сначала зависел от выработки нормы. Вечерами спецкомендант на линейке проводил поверку. Охрану с вышек сняли. При выдаче паспортов с нас со всех взяли строгую расписку, что мы нигде не будем оглашать, в каких местах находились, чем занимались и не будем отражать в литературе всю ту жизнь, через которую прошли. Нас предупредили, что нарушение этого «обязательства» будет рассматриваться, как разглашение государственной тайны, и виновный будет подвергнут лишению свободы на большие сроки.

После снятия охраны лагеря у меня уже на второй день исчезли с нар все личные вещи: прихожу с работы, а их нет, и дневальный ничего не знает. Жулики их уже продали в соседней с нами деревне Аркадном. За несколько дней уголовники успели обворовать несколько квартир, стали воровать продукты, поросят, курей, телят – пошел у них пир горой! Сельский Совет куда-то пожаловался, и через несколько дней вернулась к нам военизированная охрана и установила прежний строгий режим. Теперь и паспорт в кармане, и ты за колючей проволокой, и на работу ходить под конвоем – всех под одну гребенку: – деревню грабили, значит, виноваты все!

До зимы я работал на земляных работах и плотничал. Одно время на целый месяц меня даже взяли помощником повара. Улучив возможность, я пожаловался вольнонаемному начальнику ДСУ (дорожно-строительного участка) Александру Васильевичу Поздееву. Это ему лагерное начальство, а потом комендатура предоставляли рабсилу. Я ему рассказал, что я не уголовник, а студент-педагог и в грабительской вакханалии не участвовал, меня и самого обокрали. Он поговорил где-то с лагерным начальством, и меня перевели в лагпункт № 5, который располагался вблизи села Орехово того же района. Здесь «особники» тоже из бытовиков, но бандитов было меньше, колхозников почти не грабили. Поэтому конвоя не было. Спецкомендант появлялся ежедневно, но жил в соседней деревне со своей семьей. Работали на строительстве той же трассы. Меня помимо моей воли, поставили бригадиром на возведении дамбы к деревянному мосту. Но командовать я не умею по своей природной мягкотелости, тем более с таким контингентом, который привык работать из-под палки, и я через месяц отпросился пилить продольной пилой для моста брусья, плахи, тес. Взял меня в напарники опытный пильщик, татарин по национальности, Галим Гатиатуллин.

Он может отлично наточить и настроить пилу, измерить и отмерить проугленным шнуром любое бревно, знает, как ловко и легко закатить его на козлы и закрепить. Пилил он сверху (это труднее! Но он там, как бог!), а я внизу. Я у него учусь, но он держится на равных. Отсидел он семь лет вместо обещанных судом пяти. И я убежден, за

Советскую власть (он шепотом подчеркивал: «Ленинскую») он готов был любому врагу горло перегрызть. Он ни минуты не сомневался в победе Красной Армии, верил в народ. И здесь он работал, давая по две нормы, хотя особых поощрений мы не имели, разве что иногда начальник ДСУ давал нам добрый кусок конины в дополнение к пайку.

В выходные дни нам разрешалось пойти в деревню. Многие в селах завели себе знакомых, мы договорились в селе Ясная Поляна с председателем колхоза по воскресеньям пилить тёс для их нужд. Плата нам – продукты питания.

Помню, как-то раз этот председатель Беликов поудивлялся нашей физической нагрузке. И я ему предложил стать со мной рядом и просто в такт нашей работе пустыми руками махнуть столько же раз, сколько мы машем с пилой. Так у него не хватило сил отмахать один прогон от передней козлины до задней. Я и сам удивился; ну почему?! А Галим знал эту штуку и раньше и только ухмылялся. Председатель же после такого эксперимента стал с нами еще добрее, оценив трудность нашей работы.

После мне Галим говорил: – Ни ты, ни я – никто пустыми руками столько не отмахает, сколько можно с пилой. Это много раз проверено.

Да, восемь месяцев мы пилили вблизи моста, а потом, начальник или, как теперь его называли, спецкомендант Магера направил нас в числе других пятнадцати человек па уборку хлебов в с. Ясная Поляна, косили мы ячмень, овес, рожь, пшеницу грабками. Грабки – это та же коса-литовка, но с особым приспособлением из лозин, хлеб ложится колосьями в одну сторону ровными рядами. Потом женщины и дети сгребают их, и вяжут в снопы.

Из Владивостока приехал как-то инспектор отдела кадров Дальлага и забрал у нас у всех паспорта, потому что многие самовольно уехали на запад. Правда, часть из них вернули с дороги и под конвоем угнали в закрытую зону, которая находилась на полдороге между с. Орехово и с. Ромны Красноармейского района. Работали они на той же трассе, но под конвоем. По лагпунктам проехали работники райвоенкомата с врачами. Многих взяли в армию, уже не глядя на статью. Галим Гагиатуллин поехал воевать. У меня обнаружили трахому и выдали свидетельство об освобождении от воинской обязанности, бессрочное.

Стройка обезлюдилась. Работы велись вяло. Мостики погорели. Меня Поздеев взял в Ариадное на участок счетоводом. Там у него был уютный вагончик, где он иногда ночевал, появляясь наездом. Людей здесь осталось человек тридцать, уголовников забрали раньше. Пригнали туда лошадей, косили сено, восстанавливали мостики.

Осенью объявили, что ДСУ все целиком с техникой и лошадьми увозят на запад. Хотел Александр Васильевич забрать и меня, но у меня паспорт был в отделе кадров. А кто умудрился не отдать паспорт, те с ним уехали, а остальных нас передали в леспромхоз, но оставили под надзором все того же спецкоменданта Магеры. А мне он разрешил устроиться в отдел кинофикации Имана с той целью, чтобы я ставил кино не только в селах Калининского района, но и на лесозащитах.

Работал я сначала с Ваней Коваленко, жителем города Имана, на звуковой узкокопленочной кинопередажке 163П. Электричество вырабатывал моторчик воздушного охлаждения В-3. Но Ваню вскоре

призвали в армию, я стал ездить один. Однажды вдруг у моторчика сломался шатун, а запасных в отделе кинофикации не нашлось. Так я поехал с немой широкоплечной аппаратурой системы «ГОЗ», я этот аппарат звал ласково «Гозиком».

Аппаратуру из села в село перевозили колхозы и леспромхозы на своих лошадях. Коробки с новыми фильмами приходили по почте. Зная, что я грамотный, читаю газеты, колхозники и рабочие мне часто задавали вопросы о текущих новостях: и как-то само собой получалось, что перед началом сеанса я стал проводить везде неофициальные коротенькие политинформации, увязывая их со злобой дня на местах и исподволь подводил к мысли, что победа на фронтах зависит и от нашего труда.

В селах я везде знакомился с учителями. Узнал обо мне и заведующий Калининским районо Утехин. Он пригласил меня в Ореховскую семилетнюю школу преподавать немецкий язык и одновременно вести третий класс. Он знал, что я – «особник» и совместно с Магерой написал во Владивосток прокурору лагерного надзора просьбу выдать мне паспорт и прочие документы и позволить работать учителем. Разрешение такое я получил с 4 октября 1944 года. Этот день и считается по документам концом моей «ссылки».

Утехин направил меня в крайоно. Там экзаменационная комиссия поговорила со мной по-немецки, проэкзаменовала на знания грамматики, проинструктировала немного по методике и выдала мне справку о соответствии преподавательской работе. Документов-то об образовании у меня не было.

С октября я и стал работать в школе. Хотел я перебраться во Владивосток, чтобы закончить пединститут или уехать в какой-то другой город, хотя бы обратно в Саратов, но мне в милиции объявили, что с моим прошлым ни в каком городе не пропишут, и ни один институт не имеет права принять. Жить мне можно только в отдаленных от границы и городов сельских местах и уж, конечно, печатать мои стихи никто не возьмется.

Год я проработал в Ореховской семилетке. С первых дней работы в школе я активно включился в работу агитбригады (так мы называли кружок самодеятельности), в которой участвовали почти все учителя. Я составлял инсценировки на местные темы, а также стихи и частушки. Вступительное слово ведущего звучало тоже в стихах в стиле Демьяна Бедного. Многие из этих стихов у меня сохранились. Концерт обычно состоял из одноактной или двухактной небольшой пьесы или инсценировки, декламации стихов, хора, плясок, сольных номеров, легкоатлетических пирамид, которые исполняли обычно семиклассники. Организовали небольшой струнный оркестр: балалайка, гитара, домра, контрабас, барабан, ложки и бубен. Жили весело! В свободное время вечером при копилке (лампы со стеклом негде было взять) после подготовки к урокам я шил тапочки из обрывков старья, а подошвы из старых автомобильных покрышек. Или починая кому-нибудь сапоги, ботинки, подшивал валенки. За это нам давали понемногу кукурузной крупы или картошки, или молока – все добавка к нашему скудному столу!

Переписывался я с мамой и со всеми братьями и сестрами. Старшая Агния Петровна жила в Сталинско-Новокузнецке. Мужа взяли в армию помполитом. Он погиб. Младшая сестра по мате-

ри Любовь Ивановна Костюченко жила в Амурской области в селе Новокиевский Увал, работала в прокуратуре, все братья: Сергей Петрович Саяпин, сводный брат Леня и братья по матери, Федор и Валентин Ивановичи Костюченко, воевали. Погиб один Леня. Отчим умер перед войной. Мать осталась одна на золотых приисках в Амурской области Селемжинского района. Я ее пригласил переехать жить к нам. Захватила она с собой, что могла. Остальное там распродала и приехала. Она всю жизнь работала акушеркой, ещё до замужества окончила Владивостокскую акушерскую школу, а для села это ценный кадр! Рожениц принимала прямо у них на дому.

Привезла она и мне и невестке кое-какую одежду. А самое ценное – отцову однорядку-тальянку. Играть я научился от отчима еще в детстве. И теперь в нашем маленьком Ореховском клубе зазвучала новая музыка.

Писал я в Саратовский пединститут, чтобы мне выслали документы об образовании, но тогда никто не ответил.

В День Победы мы печалились и радовались. Большинство из нашей семьи остались живы, погиб один Алеша. Их эшелон бомбили при подходе к Фронту. Федор вернулся инвалидом. Сергей, ст. лейтенант, танкист, расписался на рейхстаге, Валентин – моряк, воевал только здесь, с японцами.

Земли, как положено учителю в сельской местности, нам около дома отвели 25 соток, мать за одежду выменяла на семена картошки, кукурузы и других овощей. Посадили мы огород, купили корову. Урожай в том году удался хороший!

Отпуск в те годы учителям давали 24 рабочих дня. В это время мы накопили сена. Учебный год начинался с 1 октября. Мы, сами учителя, делали кирпич-сырец и перекладывали в школе печи. Сами ремонтировали школу и мебель. Очень много помогали колхозу в посадке овощей, прополке, в уборке урожая, на зерносушилке. Общественная работа тоже почти целиком ложилась на плечи учителей: читали лекции, проводили подписку на заем и другие мероприятия.

Учебный год начинался радостно. Верилось, что теперь, хоть заочно, но институт закончу. Вдруг пришло предписание из милиции: за 72 часа выехать мне за пределы Дальнего Востока, как бывшему «врагу народа», вот так – после «ссылки» еще и высылка! Поехал я в милицию. Там и слушать не захотели.

Куда ехать? Нам с женой хотелось в Среднюю Азию, в Чимкент. Но мама настояла ехать в г. Сталинск к моей старшей сестре. Распродали мы все наспех за полцены. Многое мы просто бросили. Полмесяца просидели мы в Имане на вокзале, сторожили свой скarb, питались, чем придется, на пустыре на тагане варили супы. Часть вещей отправили багажом, малой скоростью. Наконец, нам билеты дали до Иркутска в общий вагон. А там пересадка. В Иркутске просидели больше недели. А вообще до Сталинска имели четыре пересадки.

После праздника пошел я по школам. Металлургический техникум принял меня с испытательным сроком, потому что документов об образовании у меня нет, только справка с места работы в школе, да экзаменационный листок из Владивостокского крайоно. На моих уроках побывали другие учителя. Поговорил я с ними по-немецки. Все признали, что языком я владею, уроки веду умело. Впереди – заочный институт.

Стал я просить квартиру. Показали нам комнатку во втором корпусе техникума. Жить можно. Коснулся прописки – милиция отказала: «Выезжай из города!». До сих пор больно: посадили ни за что. ни про что, карали-перекарали и еще продолжают карать!.. Так ведь недолго и ожесточиться. А педагогу это не положено!

Вот откуда название этого повествования – «Преступление в наказании», потому что сам акт такого наказания, незаслуженного, – это непростительное преступление! Ну, благо был бы я один в таком положении, а то ведь многие сотни тысяч невинных жертв прошли через такие испытания. А много тысяч и не дождались своего освобождения: на моих глазах уходили из жизни. Куда теперь податься! Ну, ладно, маму прописали у дочери – в этом уже душе утеха.

Но мир не без добрых людей... В секции, где проживала Агния, в одной из комнат у свояченицы останавливался директор семилетней школы при совхозе «Металлург» Михаил Ильич Гиренко. Он меня пригласил в свою школу: там не было учителя немецкого языка. Оформился я в Кузнецком районе и поселились мы в этом подсобном с/хозяйстве Кузнецкого металлургического комбината.

И снова я запросил документы об образовании из Саратовского пединститута. Прислали справку, что я выбыл с третьего (а не с четвертого) курса. Напутала какая-то секретарша. Поступил я заочно на московские курсы иностранных языков на английское отделение. Курсы эти я закончил успешно. А преподавал все-таки немецкий язык: он здесь велся традиционно. Три учебных года я проработал в этой школе. Попытался я посылать стихи на злободневные темы: сначала в районную газету «Колхозник Кузбасса», потом в областную «Комсомолец Кузбасса», стихи и кое-какие производственные заметки в газету «Кузбасс». Так, начиная с 1950 года и по сей день, я активно участвую в работе местных газет.

Но хочу еще рассказать об одном эпизоде, который буквально меня потряс.

Перед этим случаем я подавал в Москву Генеральному прокурору прошение о снятии с меня судимости. Мне ответили незамедлительно, что человек, в течение трех лет не совершивший преступления со дня отбытия срока, считается несудимым, и делать специальное постановление о снятии с меня судимости просто нет необходимости.

И вот весной 1951 года меня вызвали в Кемерово на совещание райселькоров области. Я поехал. Было очень интересно. Я тоже выступал, говорил о том, что стихи на злобу дня, юмор, сатира очень оживляют газету, помогают ей бороться с негативными явлениями и преодолевать их, рассказал, как я сотрудничаю в районной газете, показал вырезки. Все это одобрили. Перед отъездом нам всем выдали удостоверения, в которых содержалось обращение ко всем руководителям предприятий и учреждений давать внештатному корреспонденту (такому-то) всякую интересующую его информацию и содействовать в его работе. Потом для формальности попросили нас всех заполнить личные карточки-анкеты и есть там пункт, не был ли репрессирован, и если да, то по какой статье. Я ее заполнил, но добавил, что судимость снята. Выдали нам билеты на поезд. И вот я уже в вагоне, когда врывается туда один из руководящих товарищей, требует у меня это удостоверение и отчитывает меня, как настоящего

еще живого, действующего «врага народа», и строго наказывает, чтобы я ничего больше не писал ни в какую газету – ни прозу, ни стихи!

Опять наказание без преступления! И я замолк. Редактор газеты «Колхозник Кузбасса» Проскуряков пытался письмами оживить мою активность, а потом приехал в поселок. Я ему рассказал.

– Только-то и всего! – успокоил он меня, – это они там глупости творят. Я читал давно вашу автобиографию в вашем личном деле в районо. Все это выеденного яйца не стоит. Так пришлось бы нам чуть ни всех подозревать и игнорировать.

И он выдал мне аналогичное удостоверение. Оно у меня по сей день хранится.

Описываю я все это не для того, чтобы поплакаться. Я хочу убедить теперь живущих: культ личности, само это явление противно демократии, и оно уродливо, как раковый нарост на теле социализма.

После смерти Сталина почувствовалось некоторое послабление. Весной 1954 года в конце школьных занятий я смог уволиться. В Приморье уже можно было ехать без пропуска. Теперь ничто нас в Кузбассе не держало.

Приехали мы в Иман 24 мая 1954 года. Зав. районо Анатолий Константинович Веденский направил меня в новую Вагутонскую среднюю школу-интернат № 3 преподавать английский и немецкий языки.

В конце пятидесятых годов я написал в Верховный суд просьбу пересмотреть мое дело. Он затребовал дело из Саратова, пересмотрел его, и меня реабилитировали за отсутствием состава преступления. Время пребывания в заключении и «ссылке» мне зачтено в педагогический стаж. Но многим за «Это время» при реабилитации вернули квартиры и выплатили заработную плату.